Т

Список жителей Латвии в возрасте до 16 лет, депортированных 14 июня 1941 года

Талрозе Габриэла Бенновна	1940
Танкилович Борис Маркусович	1925
Тарагина Гита Соломоновна	1929
Таубе Паула Иделевна	1928/1929
Таубе Сара Цодиковна	1929
Таубе Хайм Цодикович	1925
Таурене Антонина Павеловна	1928
Тейванс Виталийс Донатович	1939
Тейкмане Ренате Виестуровна	**1940**
Тейкмане Хелия Виестуровна	**1932**
Тейкманис Таливалдис Виестурович	1935
Тейтельбаум Геся Давидовна	1928
Тейтельбаум Даниэль Давидович	1938
Тейтельбаум Маля Давидовна	1925
Тенне Атис Адольфович	1940
Тенне Янис Адольфович	1932
Тераудс Висвалдис Янович	1926
Тераудс Янис Янович	**1927/1928**
Тетерис Лаймонис Августович	1927
Тетерис Юрис Альфредович	1925
Тешс Валдис Артурович	1932
Тешс Майгонис Артурович	1928
Тилберга Велта Яновна	1928
Тилбергс Оскарс Янович	1925
Тилика Айна Александровна	1927
Тилле Силвия Ансовна	1926
Тиллис Ансис Ансович	1936
Тиллис Арвидс Ансович	1934
Тименчик Роберт Хаймович	1940
Тимерманис Александрс Августович	1937
Тимерманис Евгенийс Августович	1929
Тинте Айна Кристаповна	1930
Тинте Имант Кристапович	1931
Тинте Милда Кристаповна	1939
Тирманис-Тирумс Янис Густсович	1930
Тице Ария Эрнестовна	**1938**
Тобийс Арвидс Янович	1929
Тобис Арнис Густсович	1934
Тобис Гунарс Густсович	1931
Тома Даце Карловна	**1937**
Тома Рита Карловна	**1931**
Томане Дзидра Лия Яновна	1936
Томане Лига Скайдрите Яновна	1929
Томане Майя Инта Яновна	1940
Томанс Янис Янович	1930
Томс Гунарс Карлович	**1929**
Томс Улдис Карлович	1928
Томсоне Илзе Эвалдовна	1938
Томсонс Гунарс Эдуардович	1926
Томсонс Марис Эвалдович	1936

Томсонс Улдис Эдуардович	1933
Томшевица Милда Кристаповна	1927
Томшевицс Кристапс Кристапович	1931
Тоша Лия Гершоновна	1926
Тоша Ольга Гершоновна	1926
Тране Ливия Яновна	**1933**
Транс Зиедонис Янович	1927
Транс Иварс Янович	**1929**
Транс Янис Янович	1938
Трапанс Харийс Эдгарович	1928
Трапша-Каркле Тия Эдуардовна	1937
Трапша-Карклис Валдис Эдуардович	1936
Трапша-Карклис Петерис Эдуардович	**1939**
Трасуна Анна Айя Езуповна	1933
Трасуна Луция Станиславовна	1935
Трасунс Владислав Станиславович	1933
Трасунс Юрийс Станиславович	1938
Трачумс Анатолийс Станиславович	1932
Трачумс Хенрихс Станиславович	1930
Трезиньш Андис Волдемарович	1940
Трейвишс Илья Абрамович	1929
Трейге Аусма Теодоровна	1928
Трейгутис Янис Фрицевич	1938
Трейда Велта Яновна	1928
Трейда Сармите Яновна	1936

Трейде Арнолдс Херманович	**1926**
Трейде Элита Айна Хермановна	1927
Треймане Анта Эдгаровна	1925
Трейманис Петерис Эдгарович	1925
Трейманис Эдгарс Эдгарович	1927
Трейс Юрис Эрнестович, род. в ссылке	26.12.41
Трембе Арон Шломович	1934
Трембе Зара Хиршевна	1937
Трембе Сара Шломовна	1932
Трембе Янкель (Яков) Шломович	1930
Триеце Валда Карловна	1928
Триеце Инара Карловна	1939
Триецс Раймондс Альфредович	1929
Трусковскис Герардс Герардович	1937
Трусковскис Рихардс Герардович	1939
Трушков Владимир Николаевич	1930
Турка Аснате Рудольфовна	1940
Туркс Таливалдис Рудольфович	1933
Турлайс Николайс Янович	1929
Турлая Антонина Яновна	1940
Турлая Валентина Яновна	1930
Туча Вивина Петеровна	1940
Туча Лидия Петеровна	1928

ХЕЛИЯ ТЕЙКМАНЕ (СТАНИСЛАВСКА)

родилась в 1932 году

С моей точки зрения, причину для высылки просто искали – надо было выслать определенное количество людей, а причина найдется. Ситуация была следующая – 14 июня 1941 года взяли моего крестного. Взяли в Риге, в квартире, а мы были на даче у бабушки, в Инчукалнсе. Он приехал, пошел спать в дом прислуги, а ночью за ним приехали, значит, кто-то выдал, сказал, где он находится. Солдаты спустились вниз по лестнице, и тут вышла мама, спросила, что происходит. Они спросили, кто мы такие, мама сказала, что мы Тейкманисы. И нас взяли, маму с тремя детьми. Разбудили меня, сказали, чтобы помогла одеть братика, ему было пять лет, сестричке Ренате – год и пять месяцев. Мама сказала – помоги одеться Ренате, я одену братика. А я подумала – у меня же сегодня день рождения! Мы были очень послушные дети, мы понимали, что настали тяжелые времена, отца уволили с работы, но у меня день рождения, и я так ждала подарка... Посадили нас в грузовик и увезли. Интересно, что на даче поселили русских военных, были среди них и молодые украинские ребята, лет примерно двадцати. А так как бабушка, мамина мама, знала русский язык, она, когда пекла пироги, угощала их, они были для нее как внуки, и эти украинские ребята говорили, что в первый раз пробуют такие вкусные пироги, рассказывали бабушке о тех годах, когда миллионы украинцев погибли. И ночью эти ребята вышли на улицу, и слезы были у них на глазах, потому что они знали, что везут нас умирать...

Отцу тотчас же сообщили, что нас забрали, и он пришел сам. В милицию пришел, и милиционер ему сказал – я тебя здесь не видел, уходи, я тебя здесь не видел! Но отец настоял, сказал, что взяли его семью, троих детей, что воспитывать их он хочет сам. И следующей ночью за ним приехали и увели. Как мы узнали, что отец в том же эшелоне? Иногда детей выпускали побегать. Точно так же, когда нас везли – не было ни газет, ни радио, но мы видели, что навстречу идут воинские эшелоны. И мамы пришли к выводу, что, вероятно, началась война. Наш эшелон все время ставили на запасные пути, мы больше стояли, чем ехали, пропускали эшелоны с войсками. И когда нас выпустили, это случилось один раз, милиция поняла, что больше делать этого не стоит, так вот, когда нас выпустили, мама сказала, чтобы мы пробежали вдоль эшелона, посмотрели, нет ли отца. В одном вагоне была оставлена щель, и отец нас позвал, так мы с братом и увидели отца в последний раз. Он только сказал – передайте маме, чтобы она не волновалась, вся зимняя одежда у меня, – нас ведь взяли с дачи, – приедем на место, встретимся. А потом в Кирове ночью стали вагоны толкать, буферы без перерыва лязгали. Все переволновались, ждали худшего, а на следующее утро... Смотрели через зарешеченное окошко, что это за место, где мы стояли и все это происходило, и только когда привезли в Новосибирск, когда нас переводили на пароход, мы узнали, что отца с нами нет. Значит, вагоны отцепили в Кирове и их увезли в лагерь. Вот откуда мы знаем, что отец был в том эшелоне.

Когда нас ввели в вагон... смрад там стоял, это же был вагон для перевозки скота, в каждом его конце были устроены нары, люди разместились и на нарах, и под ними. Нам повезло – ехали на верхней полке, потому что договорились, что маленькие дети будут ехать наверху. Окошко за решеткой

Мне кажется, в Латвии нет ни одной семьи, где бы кто-то не был репрессирован, замучен, расстрелян, где бы кто-то не умер голодной смертью... Почему?

было совсем маленькое. Вагон был пустой, в полу большое отверстие. Никто ничего не понимал. Только потом сообразили, что это туалет. Все эти запахи, шумы... Были люди, которые неделями не ходили, просто не могли... Это тоже один из видов пыток... пусть весь вагон видит, как ты справляешь свои естественные надобности в эту дыру. Много было совсем маленьких детей, много таких, как я. Помню, на нижней полке была семья, и мальчик все время пытался залезть к нам, чтобы смотреть в окно. Госпожа Ширава с Янисом, которому был год и несколько месяцев, госпожа Приеде с сыновьями Иварсом, Янисом и Петерисом. Петерис был как Ренате, Иварс моего возраста, Янис где-то посередине... Наш эшелон стоял, ждал, пропуская идущие навстречу эшелоны. Когда переезжали Урал, все были просто в шоке – поняли, что нас везут в Сибирь, взрослые уже не сомневались. Когда высадили в Новосибирске, поняли, что отца нет, и жизнь нам надо продолжать самим. Сестренка была у мамы на руках, мне девять лет, брату пять, я держала брата и несла какие-то вещи, мама взяла носильщика, и вещи пропали. Это был первый человек, который нас обокрал. Потом обокрали на барже, так что когда добрались до места из и так-то небольшого багажа почти ничего не осталось.

В Новосибирске нас посадили на пароход, в самый низ, людей было столько, что лечь было невозможно. Она кое-как устроила нас, а сама всю ночь провела на ногах. Духота, дети кричат, старики стонут, это было ужасно...

По Оби нас везли пароходом, в Парабели пересадили на баржи. Час плывешь и снова оказываешься напротив того же кедра, только с другой стороны... Потом баржа на что-то наскочила, дала течь и мы чуть не потонули. Хорошо, что река в том месте была не очень широкая, нас подтянули к берегу, а тут оводы, комары... Ждали, пока не починят. Вещи, конечно, намокли. В коне концов отвезли нас в Пудино – районный центр, оттуда лошадьми везли 30 километров в Верх-Каргат.

Когда нас привезли, местные обзывали нас фашистами, плевали в нашу сторону. Мама русским

Хелия с родителями в Латвии. 1932 год

Крестный Карлис Янсонс в Латвии. 1935 год

языком владела, рассказала, кто мы, как и что, и ситуация изменилась. Разместили нас в каком-то доме. Дом там – рубленая изба с большой печью. Конечно, ни один из живущих не был нам рад. В семье были дед и мать, отец и жена, еще дочка. Их пятеро и нас четверо. Конечно, они были недовольны, за столом сидеть не разрешали, мы антихристы, и расположились мы в углу, у мамы был небольшой чемоданчик, на котором она разложила еду. Мама никогда не протестовала, не выступала, все тихо, мирно... Пока оставались вещи на обмен, мама меняла их на картошку, на продукты. Еще была баночка с маслом – это в дорогу. Но мы и ее съели, все вещи обменяли, остались голые и босые. Примерно два года ели траву – крапиву, лебеду. Крапива еще была съедобна, но лебеда мне не нравилась. Была еще колба, дикий лук, в нем много витаминов, мы его солили на зиму. Были грибы, Сибирь ими богата, летом собирали ягоды, но два года были драматичными, при этом надо было выплачивать всякие займы. Мама отдала последние простыни. А потом маму вызвали в контору и велели расписаться, что она сдаст мясо. Каждый житель имел одну корову, а когда появлялся теленок, его сдавали государству. Мама подписываться не стала, знала, что мяса у нее нет. На улице мороз, мы сидим дома – мне 10–11 лет, брату семь, Ренате годика три. Сидим и обсуждаем с братом, что сделать, чтобы мама быстрее вернулась. Обмотали ноги тряпками и пошли в контору просить маму, чтобы подписалась. Мы решили, что если нас взвесят, будет как раз столько, сколько надо. Решили, что маме останется Ренате. А что с нами будет, мы ведь об этом не думали, важно было, чтобы мама вернулась домой. Комендант, видно, понял, что начинается полный абсурд – дети предлагают себя вместо мяса. Отпустил маму... Годы войны были драматичными... Было это в самом начале – маму парализовало. Жили мы в мастерской, пришли русские женщины, говорят – прощайтесь с мамой! А я еще в детстве была обучена молитвам, и я стала молиться... Потом мы с братом побежали в тайгу, набрали дикого лука, стали ей выдавливать в рот сок. То ли витамины, то ли сок был живительный, но мама поправилась. Не знаю, что это было, но мама поправилась. Собирали ягоды, приносили маме. И сестренка чуть не умерла, маленькая... Через год или два Ренате заболела, перестала ходить и разговаривать, и мама думала, что она умрет. У соседей тоже девочка заболела. Они были люди верующие, решили, что если выживет Ренате, то и их дочка выживет. И стали носить нам каждый день молоко. Ренате и сегодня с нами. Нелегко было... Но мы выжили.

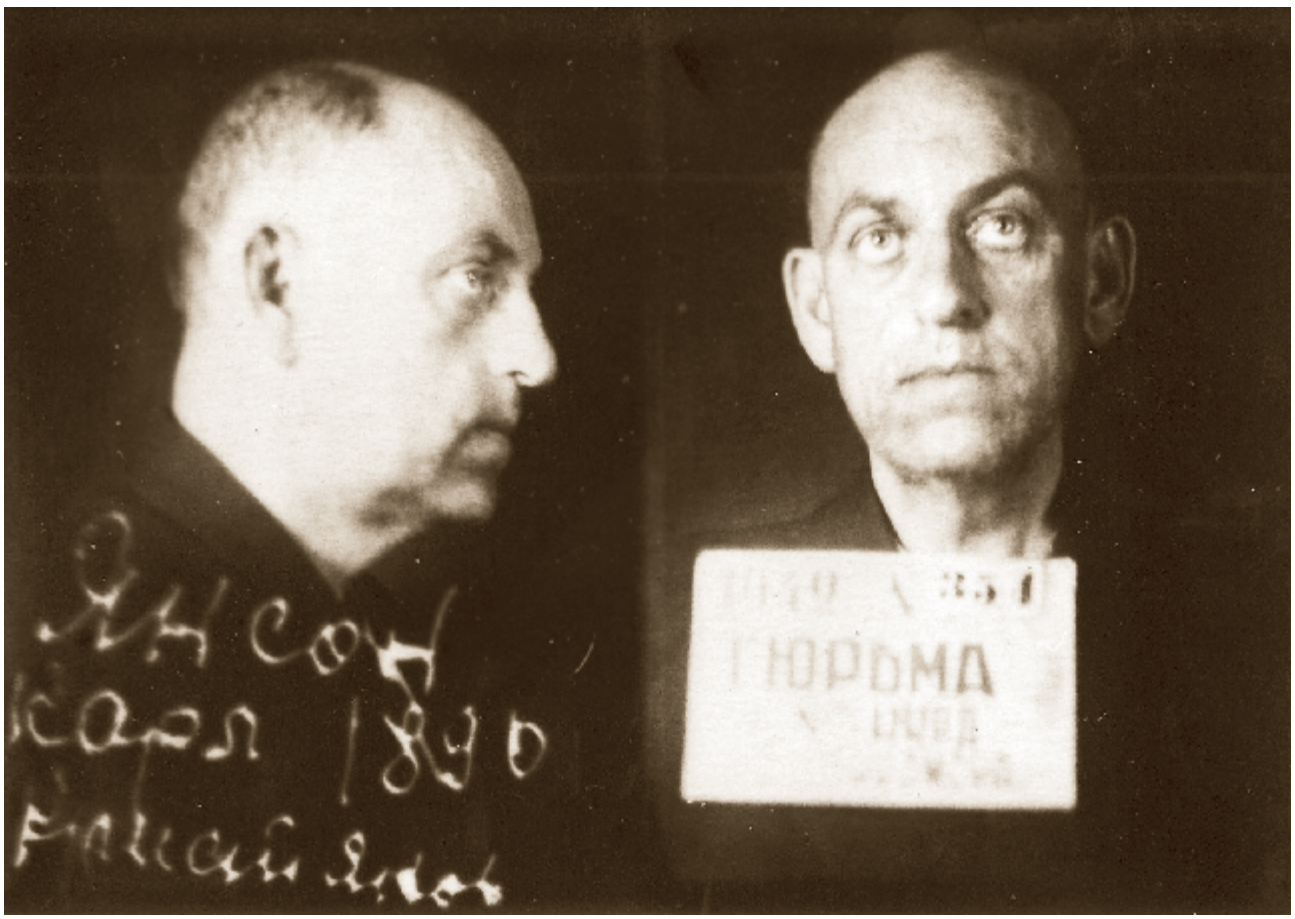
Мама регулярно писала прошения, все спрашивала, где отец, не можем ли мы быть вместе... Маму вызвали, это было еще во время войны – в 43-м или в 44-м году, – и сказали, что отца расстреляли. Мама вернулась совершенно разбитая. Я же не могла в это поверить – я была папина дочка, я пошла в комендатуру, мне комендант сказал, что папа жив, но пока идет война, он писать не может. Я в это поверила и принялась успокаивать маму, что папа обязательно жив, что это какая-то ошибка... Мама чувствовала, что отца нет, но верить в это не хотела.

В Латвии я окончила 1-й класс. В Сибири первые четыре года в школу не ходила – в селе и

школы не было. Надо было ходить за 15 километров, но у меня не было ни одежды, ни обуви. И вот мама нарисовала мне латышский алфавит и рядом русские буквы. Таким образом я освоила русский язык, и когда в нашем селе открыли школу, я сразу пошла во 2-й класс. Перерыв, конечно, был очень большой, я это переживала очень болезненно. Я окончила четыре класса в нашей сельской школе, а дальше училась в школе, которая была расположена за 30 километров.

Мама окончила в Латвии Английский институт и училась в Консерватории у Язепа Витолса. Она не была физически сильным человеком, а ее посылали на тяжелые работы, я оставалась дома. Мне было девять лет, сидеть с малышами не хотелось, но я понимала, что надо. А когда мама узнала, что папа погиб, я решила, что теперь должна быть вместо отца и маме надо помогать, и я старалась... Осенью в колхозе не всегда успевали убрать урожай, в поле оставался турнепс. Его выращивали на корм скоту, он так в земле и замерзал. И тогда нам разрешали его выкапывать. Брали топор, вырубали из замерзшей земли, варили и ели. Весной на поле подбирали картошку. Я все время старалась маме помогать... Когда мне исполнилось десять лет, я уже работала в детском саду, присматривала за детьми. Ренате тоже пошла в детский сад. В селе вообще нас очень уважали и маму любили. Когда через 16 лет мы уезжали, люди, провожая нас, плакали... И они были высланные, в большинстве своем неграмотные... Мама писала за них письма. Я спрашивала у мамы – что же ты там пишешь? «Здравствуйте дорогие, потом имена всех родственников, а потом с пламенным приветом и снова имена тех, кто привет посылает». Я спрашиваю – а где же содержание? Содержания не было... Похоже, жители села просто боялись писать своим близким. Их выслали из Омского в Томский район.

Я приносила людям воду, стирала белье и училась. Было нелегко, но школу я окончила и поехала в Томск, в техникум. И техникум окончила. Тогда, кажется, было указание – высланных не принимать в вузы Томска. Я хотела стать архитектором... Когда



Крестный Карлис Янсонс в тюрьме НКВД

Хелия с мамой Кете в Латвии. 1936 год

я поступала в институт, преподаватель немецкого со мной беседовал, писать не надо было. Все экзамены я сдала на пятерки. Сочинение я писала на тему «Поднятой целины» Шолохова, но мне поставили двойку с припиской – политическая ошибка. В институт не попала, поступила в техникум, стала бухгалтером. Потом мне предложили поступить на юридический факультет без вступительных экзаменов, так как и техникум я окончила на «отлично». Я сказала, что никогда юристом не буду, мой отец был юристом, и его за это расстреляли...

Село, где мы жили... Мама была на редкость интеллигентным человеком, она многое перенесла, но никогда этого не показывала. Может быть, еще и потому, что мы очень старались ее поддерживать, собирали гнилую картошку, приносили домой травы, грибы. Самое ужасное, самое унизительное мы пережили, когда были съедены все засоленные на зиму припасы, и мы с братишкой ходили с нищенской сумой, выпрашивали подаяние, чего никому в жизни не пожелаю. Это настолько унизительно, мы ходили в соседние села, в своем селе стеснялись, ходили за семь километров, за 15 километров. Если что-то нам подавали, мы не съедали, несли домой, потому что дома были мама и сестренка. Приносили картошки, иной раз блин, кто-то давал и кусочек хлеба, складывали все в торбочку и бегом бежали домой. Выкладывали на стол, и мама все делила на четыре части. Может быть, мы и выжили потому, что заботились друг о друге. Мы с братом ездили в лес за дровами, оставались срубленные кедровые сучья, грузили их на санки и тащили домой, один толкал, второй тащил... Снег глубокий, до двух метров... иной раз брат проваливался в снег с головой, приходилось его откапывать. Но дрова привозили, согревались и выжили.

Там надо было съезжать с горы, и мама упала с воза, одним колесом ее задело по ноге, вырвало из бедра кусок мяса. Привезли ее в больницу, положили на пол, ногу прикрыли брезентом. Так она пролежала на полу два дня, на третий день врач, проходя мимо, спросил – а кто тут у вас лежит? Ему ответили – умирающая... Он посмотрел – но она же жива! Маму положили на кровать, стали ее лечить, смотреть за ней, и она, слава Богу, прожила до 90 лет! Пока мама была в больнице, мы грелись на печке, но, вероятно, начали уже замерзать, потому что очнулись, когда кто-то бросил на пол охапку поленьев. Это оказался сосед, бывший священник, дедушка Шкива, вероятно, увидел, что из трубы не идет дым. Пришел с охапкой дров, затопил печь, и мы постепенно согрелись. Разные ситуации случались, но как-то мы из них выкарабкивались.

Брата застрелили в колхозе, где он работал с семи лет. Лошадей из колхоза почти всех забрали на фронт, и мальчишки ездили на быках, у него был такой кнутик... Вокруг бродили медведи, у кого-то из местных было с собой ружье, и один из ссыльных, молдаванин, прицелился в брата, не зная, что ружье заряжено... Он сам и отвез брата в больницу за 30 километров, но брат истек кровью и умер. Так и похоронили мы братика в вековечных сибирских лесах, теперь там все заросло. Село люди покинули еще в 1956 году, когда я была в Томске...

Надо сказать, что мои отношения с местными парнями были особенными. В колхозе устраивали вечерники под гармонику, обычно в помещении конторы, все танцевали. А у ребят была манера за-

жать в углу девушку, и они начинали верещать, и я решила, что если со мной такое случится, я буду драться. Но со мной ничего подобного ни разу не случилось. Были ребята, которые мне нравились, но никакого насилия по отношению ко мне не проявил ни разу никто.

А с другой стороны, я все верила, что вернусь домой. Поэтому и не брала на себя никаких обязательств. Я познакомилась с парнем, мы с ним переписывались, и через семь лет, когда я окончила техникум, он сделал мне предложение. Он был в Новосибирске, я в Пугино, я ему написала, что моя родина – Латвия и я никогда не останусь в Сибири. Возможно, это было нехорошо, но так было, и я никогда не жалела, что в Сибири не связала свою жизнь ни с кем.

В Советской Латвии нас никто не ждал, никому мы были не нужны. Мы когда-то жили на улице Элизабетес, я взбежала по лестнице, постояла возле дверей своей квартиры номер семь и медленно спустилась вниз – там жили другие, пользовались нашей мебелью, всеми нашими вещами, а нам вход туда был заказан. Когда приехала мама, мы с сестрой пошли оформлять ее пенсию. Но женщина – я, к сожалению, не записала ее фамилии, – ответила нам, что здесь маме ничего не полагается, пусть возвращается туда, где работала. Стали мы ей объяснять, что мы, во-первых, высланные, во-вторых, колхоз, где мы когда-то жили, больше не существует. На что последовал ответ – значит, дети должны о ней заботиться... Мы и сами знали, что о маме надо заботиться, но мы считали, что пенсию она заслужила. Так пенсию ей и не начислили. А когда началась Атмода, я подала документы, и она в первый раз получила пенсию, я принесла, положила ей на колени, а она сказала, что теперь эти деньги ей больше не нужны... По магазинам она в то время уже не ходила... Все больше дома. Так что здесь мы никому не были нужны, отношение к нам было враждебным.

Вместе с мамой мы жили до самой ее смерти.

Иногда задумаюсь – отчего это нашему народу выпала на долю такая тяжкая судьба? Мне кажется, в Латвии нет ни одной семьи, где бы кто-то не был репрессирован, замучен, расстрелян, где бы кто-то не умер голодной смертью... Почему? Почему это со мной должно было случиться? А с другой стороны, как говорила мама, в жизни все взаимосвязано, мама говорила, что у нее было такое прекрасное детство, такая прекрасная юность, такое прекрасное замужество, что это не могло продолжаться всю жизнь... То, что мы потеряли своих близких, это трагично. Второе – то, что на своей земле, куда ты вернулся, ты оказался не нужен, это больно. В то же время скажу, что должна благодарить Бога, что он ни на минуту не оставлял меня, что у меня была возможность что-то делать ради общего блага, что-то сохранить. Главное – ради крестного, который взошел на Голгофу и был расстрелян в Соликамске. Пока будет стоять дом, будет и память, я знаю, что нет его могилы, нет и памятника. Имя своего отца я написала на надгробном памятнике, который стоит на могиле мамы и дедушки.

Мать Кете, Хелия, Ренате (стоит)

У нас есть о чем и о ком вспоминать, о чем думать, о ком заботиться... Счастливыми были те дни, когда родились мои сыновья, я счастлива, что у меня трое внуков... Я счастлива, что могу жить в своей стране...

РЕНАТЕ ТЕЙКМАНЕ (САКСЕ)

родилась в 1940 году

Когда я родилась, а было это 31 января, стояла очень холодная зима...

Отец был юристом, мама окончила консерваторию. Знала и языки, училась на филологическом факультете, но не работала – нас у нее было трое. Взяли нас в четыре утра. Я, конечно, ничего не помню, было мне в то время всего пять месяцев. В тот день у сестры был день рождения. Помню я об этом, потому что в Сибири очень часто обо всем рассказывали. Рассказывали обо всей нашей семье, и я всех полюбила по этим рассказам. Эти вечера я запомнила на всю жизнь. С Родины мама захватила коробку с орехами, и когда мы садились по вечерам, она каждому отсыпала орешков, и мы сидели в темноте, экономили керосин. Светила луна, и мама, сестра и брат принимались рассказывать, так я узнала, кто есть кто, и всех полюбила.

Помню, что в Сибири жили мы во многих местах. В первой семье, которая нас приняла, была бабушка, которая меня очень полюбила. Всегда что-нибудь мне даст, то картошку, то хлеба или супа нальет. А дед был злой, сердился, ругал ее за это. И тогда она посадит меня на русскую печку, был там такой шесток, и обязательно что-то даст... Потом жили в баньке, вероятно, на старом месте больше не могли оставаться. Там кастрировали животных. Когда их мыли, в щели лилась вода, внизу была яма, куда эта вода стекала. Приехал ветеринарный врач, сказал начальнику, чтобы в течение часа баню эту сожгли, а людей пусть размещает, где хочет. Я держалась за мамину юбку, плакала – где мы теперь жить будем! Мне было три года, и с этого времени я начала себя помнить. Потом мы уже жили в нормальных условиях. Жили даже в доме совсем одни, откуда и помнятся эти вечера, рассказы о родине.

Мама... Мама была весь мой мир. Она нас никогда не баловала, да и как можно было в тех условиях баловать, но была ласковая, понимающая. Как она нас воспитывала – это интересно... Говорит мне – вымой пол. Один раз скажет. А я, как любой ребенок, занята чем-то своим, ладно, ладно, говорю. Она скажет второй раз. Потом возьмет тряпку и начинает мыть сама. Я прошу отдать мне тряпку, она не дает. В следующий раз, если мама сказала, я старалась сделать сразу же, понимала, что так нельзя... Попыталась мамин метод на своих детях проверить. Раз скажу, два скажу, начинаю мыть сама, а они ноги поднимут и – ни с места. Поняла я, что на моих детей мамин метод не действует... Лично я воспринимала маму как святую. Если живешь в хороших условиях, а потом ребенок просит есть, хлеба или картошки, а дать нечего... Нечего одеть в холода... Но ни на кого она не держала зла, никогда на нас не кричала, не злилась, все переносила с огромным терпением. Когда мы вернулись на Родину и увидели, что здесь совсем другая жизнь, я спросила у мамы – почему ты мне никогда ничего не рассказывала? Вот мамины слова: с ненавистью в душе жить трудно! Поэтому я ей бесконечно благодарна – если нет ничего в жизни, надо собрать все свои силы и все вытерпеть. Она помнила, как жила в Латвии. Вспоминала, как было. Я слушала все это как сказку. Правда, все это казалось сказкой. Был такой эпизод – на Рождество она всегда вспоминала, как пекли перечное печенье, пипаркукас. И когда мы приехали в Латвию, она его испекла. Это было так вкусно! А сейчас сын сам печет по бабушкиному рецепту.

В 46-м, 47-м году я должна была идти в школу. Там же, в деревне была начальная школа. Сестра с братом

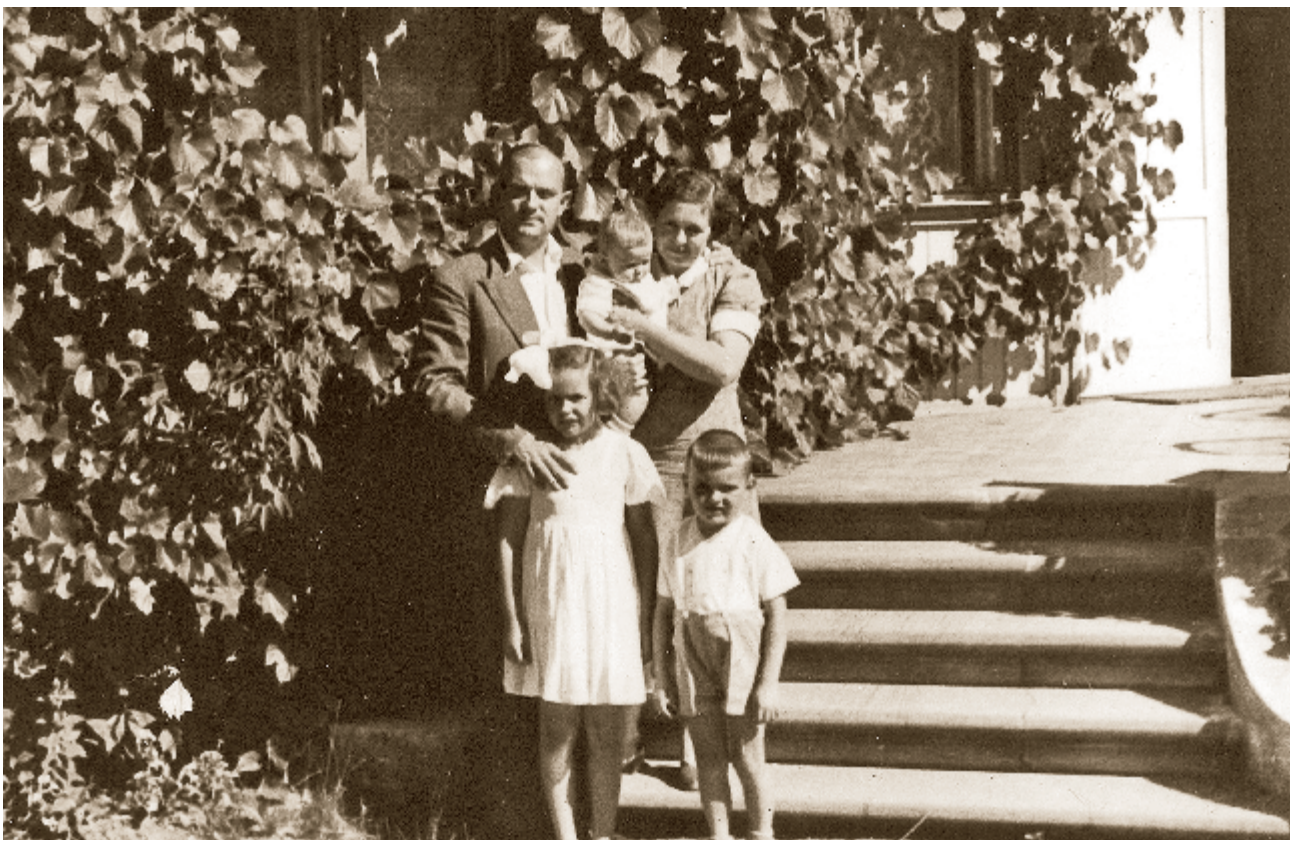
Зимой днем мама была дома. Чтобы что-то заработать, ночью сторожила. Днем иногда шила, рукодельница была.

ушли вперед, я осталась одна и бросилась их догонять. Школа была за конторой, но я испугалась... увидела ребят... но и учительница меня заметила, позвала меня, я схватила брата за руку. Она меня ввела в класс, было мне тогда еще шесть лет. Договорились, что я приду посмотреть, послушать, а на следующий год приду в школу по-настоящему. Учеба мне давалась, и проучилась я там все четыре года.

Мы были нищие, голые, голодные, но что касается отношений между нами, были они самые наилучшие. Я и сейчас еще с одноклассниками переписываюсь, они самые лучшие мои друзья. Местные тоже были высланные, так называемые раскулаченные. Их привезли зимой, в санях, выкинули в сугроб и оставили. Но там были и мужчины – отцы, братья. И принялись они копать. А земля застывшая, многие умерли, и взрослые, и дети... Со временем дома стали строить. Так что нас они прекрасно понимали, отношения между нами были самые хорошие.

Зимой днем мама была дома. Чтобы что-то заработать, ночью сторожила. Днем иногда шила, рукодельница была. А когда начинался сезон, мы маму уже и не видели. Работала она кем-то вроде воспитательницы в детском саду. Было там 26 детей, разного возраста, уходила мама, когда мы еще спали, приходила, когда мы уже спали. Когда учились в школе, нам тоже приходилось работать в колхозе – пололи картошку, зерновые – тогда никакой химии не применяли, все делали руками... Когда у меня выдавалось свободное время, бегала помогать маме в детский сад. Дома у меня были свои обязанности – убрать, собрать из-под кур яйца, мы держали кур. Так продолжалось до 4-го класса...

Когда мне исполнилось 10 лет, я должна была пойти в школу за 15 километров в другое село. Но ни одежды, ни обуви у меня не было. И меня отдали на год присматривать за ребенком. Я у них работала. Мальчику было три года, он не ходил, болел. И я целый год жила у них без мамы. Но в следующем году снова пошла в школу. Через год мама переехала в ту семью, где я присматривала за ребенком. Он уже начал ходить, ему было лучше. Я ужасно скучала по маме, помню, я заболела, ноги распухли, температура поднялась. Лежу и думаю – не могу без мамы... Хозяйка моя ушла на работу, а у меня были резиновые сапоги, присланные из Латвии.



Отец Виестурс, Ренате на руках у матери Кете, впереди стоят Хелия и Таливалдис. Латвия, 1940 год

Зима, холодно. Натянула я эти сапоги и побежала в дом, где я за ребенком присматривала. Прибежала, хозяйка меня не отпускает, ложись, говорит. Уложила меня в постель, сама ушла, я снова сапоги натягиваю, дальше бегу. И только одна мысль: не садиться, не садиться, сяду – не встану! Забежала в первый же дом, приехала за мной мама на саночках, отвезла домой. Так любила маму, не могла без нее... Но ноги не обморозила... Я верю в Бога. Он до сих пор меня поддерживает и ведет...

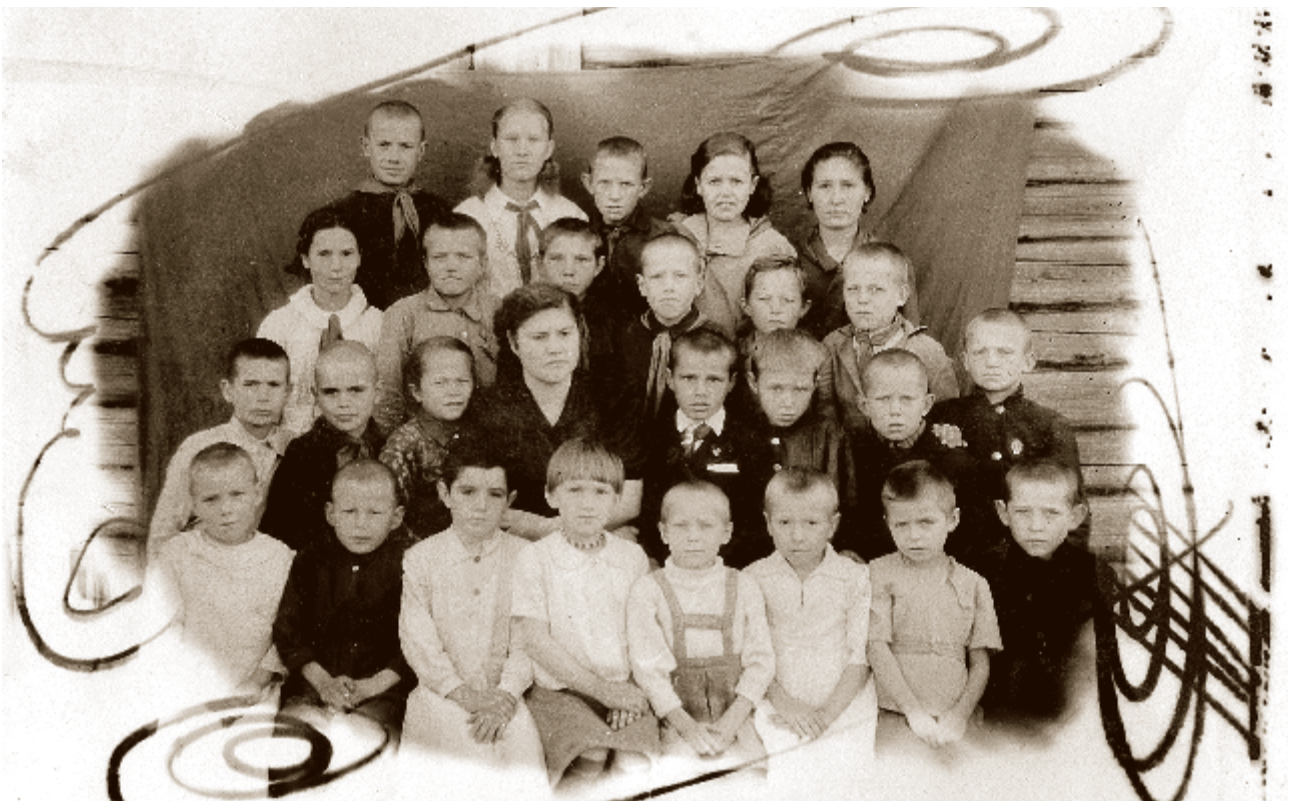
Когда вы стали старше, спрашивали вы у мамы про отца? Да. Но, как ни странно, мама скупо о нем рассказывала. Говорила только, что был он хороший муж, любящий отец. Я видела фотографии, но их было так мало. Когда я впервые встретилась с маминой подругой, та мне рассказала об отце гораздо больше. Я поняла, что он был очень общительный и интересный человек. Мы писали, интересовались, получили ответ, что жив, работает, напишет. Ждите... А потом еще одно сообщение... Когда я училась в 8-м классе, меня вызвал начальник, посмотрел на меня – я была очень маленького роста – и сказал, чтобы пришла мама. И я бегом бежала больше 20 километров. Сказала, что есть сведения об отце. Пошли вместе, думали, услышим что-то хорошее. Но мама вышла совершенно убитая, сказала, что отца расстреляли. До этого нам все время лгали. И вот мы узнали правду...

Еще хочу рассказать про брата. Умер он в 1948 году. Мне тогда было восемь лет, он был мне как отец. Мы, дети, должны были сдавать колхозу веники, ветки надо было связать. Взрослые спилят дерево, обрубят сучья, а мы, дети, вязали веники на корм скоту. Брат мне всегда помогал, они у меня были мягкие-мягкие...

Мама много рассказывала о Латвии, и все это звучало, как сказка.

А я знала, что мы никогда не вернемся домой... даже и мысли такой не было, нам же сказали, что мы приехали навсегда... Мама каждый раз, когда оставался хлеб, складывала его в мешочек, говорила – вот поедем домой... Мы, конечно, сухари эти съедали, потом снова начинали откладывать, мама думала о возвращении постоянно. А когда к власти пришел Хрущев, нас освободили.

Я впервые увидела железную дорогу, поезд, впервые оказалась в вагоне... Вошла, а он жужжит, глаза открыть не могла. Ехали долго, вероятно, неделю. Приехали в Ригу, сестра встретила нас на такси. Стала со мной разговаривать, я понимаю, что



Ренате (в первом ряду вторая справа). Сибирь, 1947 год

она спрашивает, на русском отвечать не хотелось, а латышского языка не знала... У меня как с языком было – понимать понимаю, а говорить не могу.

Первое, что меня в Риге поразило, памятник Свободы, сестра отвела, показала. Понравились и дома, каких я никогда до этого не видела. Но что касается людей... Нас боялись, избегали. Боялись с нами встречаться, поддерживать контакты, это воспринималось очень болезненно. На родине мы чувствовали себя нежеланными... Чужими. Мама сказала – мне все равно, куда пойдешь, но учиться ты должна. Пошла я, искала, но везде нужен был латышский язык, а я просто-напросто боялась. Был техникум, где на латышском языке не надо было писать ни сочинение, ни диктант. Поступила, это был Политехникум. Группа у меня была очень хорошая, но на латышском языке учиться я не могла, поступила в русскую группу. И тут судьба свела меня с русскими. Окончила, пришла работать на ВЭФ. Люди... свои, латыши приняли меня такой, какая я была... 36 лет проработала. О народе своем должна сказать – я счастлива, что я латышка.

Но с русскими же у вас были хорошие отношения? Расскажу один случай... До 7-го класса у меня была астма, в серьезной форме. Быстро ходить не могла, тащилась как черепаха. И все эти шесть километров до школы рядом со мной шла русская девочка Клавдия. Ни разу меня не бросила, ни в пургу, ни ночью. Все бегут, домой побыстрее попасть, а я задыхаюсь, идти не могу, не то что бежать. И все три года она была рядом как ангел-хранитель. Потом она уехала. Мы переписывались до самого конца...

Помню, вшивыми латышами нас действительно обзывали, но и вшей там было немеряно. У них тоже вши были, может быть, меньше, чем у нас. Они ведь жили все-таки лучше. А вообще-то жили мы очень дружно.

Испытываете ли вы горечь или ненависть за то, что отца вашего расстреляли и у мамы так сложилась жизнь? Как мама говорила – с ненавистью жить трудно, ненависти у меня, может быть, и нет, но когда над моим народом начинают глумиться, мне хочется встать и спросить – для чего все это нужно было, кто-то же должен за это ответить и попросить прощения у народов за то, что было сделано, но в принципе должна сказать – я, как мама, стараюсь, какая бы ни выпала судьба, прожить жизнь достойно.

У меня двое детей и четверо внуков.

Муж заботится обо всех, старается.

Ренате (стоит впереди), за нею стоят Хелия и брат Таливалдис. Сибирь, 1947 год

ЯНИС ТЕРАУДС

родился в 1927 году

В Павилосте я окончил пять классов. У отца в Акменьрагсе было хозяйство «Штуби». В 1935 году родители развелись, я остался с отцом, сестра с матерью. Жили – отец, мать отца, я и брат.

14 июня в четыре утра забарабанили, вставайте, надо уезжать в другую республику. За полчаса собрались – вещи в мешки, захватили с собой хлеб, копченое мясо, всех посадили в машину и отвезли в «Дандзениеки».

Оттуда на станцию в Калвене, отца увели, сказали, что мужчины поедут первыми, чтобы построить дом, в котором нам предстоит жить.

На станции весь день провели в вагоне, ночью тронулись. Каждый вагон охранялся. Доехали до Елгавы, кажется, там вагон с мужчинами отцепили. В вагоне было тесно, спали как кильки в банке.

Мы уже с неделю ехали по территории России, когда навстречу стали идти эшелоны с военной техникой. Началась война...

Через неделю привезли нас за Красноярск, там сразу же в баню – избавить от вшей. Днем посадили на три телеги и отвезли в колхоз. Чуть отдохнули, и сразу надо было выходить на работу. Обменивали вещи на продукты, надо было есть.

Задали нам пилить чурочки для генераторов, бревна уже приволокли. Вручили тупую пилу, а кедр как кость. Потом косили сено конной косилкой. Ничего не платили, дать тоже было нечего, все уходило государству. Это был латышский колхоз, латыши здесь жили с 1914 года. Летом питались ягодами, кто-то подкинет картошки, зиму кое-как перемоглись. Весной повезли вниз по Енисею в колхоз, который снабжал продуктами Норильск. Стояли три старых барака, вши заедали. Идти работать? Но кто возьмет? Идти в школу – нет денег, нет хлеба.

Бабушке было 77 лет, ей полагалось 200 граммов хлеба, но этим же не проживешь. Один латышский паренек возил воду в бочке из канав в хлебопекарню, у него болели руки, и он уступил мне свое место. Стал я возить воду, отработал зиму. Ел в столовой, три раза в день, давали 700 граммов хлеба. Весной посадили на колесный трактор, со старыми радиаторами, которые вечно текли. Замучился. Осенью на комбайн, который тянул трактор. Жили человек 10 в вагончике, кормили, но деньги высчитывали.

Брат был старше, его мобилизовали в трудармию, во Владивосток, на судно, на лодке его унесло в океан, нашли с вертолета через три дня. Потом встретил на почте латыша, и сам туда перешел работать.

Бабушка летом умерла от голода. Столяры сбили ящик, отвезли на лошади, втроем похоронили. Полил дождь, я забрался в кучу соломы и заснул. По мне проехала машина ЗИС-5. Шофер вышел посмотреть, а я лежу, носом в землю зарылся, отвезли меня в вагончик.

Бригадир сидит рядом и бубнит: «Ты не спи!» Потом отвезли меня на отделение к фельдшеру. Тот сказал, что недели две нельзя работать. Сдавило меня, но ничего не переломало.

Было около 70 лошадей. Сидя верхом, выгонял их в ночное, утром гнал домой. Потом мне рассказали, что в Красноярске есть комиссия. Пошел в контору, чтобы дали мне бумагу, что у меня нет ни отца, ни матери. Что-то начирикали. И пошел я на катерок и 80 поплыл километров до Красно-

Полил дождь, я забрался в кучу соломы и заснул. По мне проехала машина ЗИС-5.

ярска. Приехал, зашел и отдал бумагу. Одна еврейка говорит: «Такой большой, ну, а домой ехать хочешь?». Сказал, хочу, что мне здесь делать одному.

Рассказали мне, куда идти. Прошагал пять километров, а там снова: «Где мы такую большую одежду достанем?» Выдали мне тужурку, рукава до локтей, какие-то брюки достались.

Через неделю пришел вагон. Мы бегом, кто первый до Красноярска пять километров добежит. Ехали, вероятно, неделю, а то и дольше.

Приехали в Ригу, а тут директор говорит: «Ну что ты, такой большой парень, здесь сидеть будешь, иди домой. Есть родственники?» – «Мать в Гауиене живет». Он с кем-то созвонился, велел ждать, скоро вернется.

Жду день, жду другой – нету. Стучусь в дверь к директору: «Как долго еще ждать? Отпустите на поезд, я поеду!»

Медсестра отвела меня на вокзал, взяла билет и поехал я в Лиепаю, оттуда в Саку. Там встретил знакомого на лошади, приехал домой. А там только прислуга. Одежды нет. Сказала, чтобы шел к сестре, она живет неподалеку. Пришел, сказала, могу, мол, поработать, тогда чем-нибудь накормит. Сказал, что делать буду все, что скажет. Что мог, то и делал.

Настали времена, когда норму выполнять надо было. Пятьдесят кубометров леса, столько же и хозяину. Всего 100 кубометров. Утром шли за четыре километра, вечером обратно. За зиму норму выполнили.

Весной призвали в армию, в Айзпуте. Призвали в 1950 году, в танковые войска, в Каунас.

Прошел слух, что каждая республика формирует свою армию, пошел к офицерам и сказал, что хочу служить в своей армии. «Да, да, это можно». Приехал в Ригу, в 43-ю дивизию. «Нужны шоферы, хочешь учиться?» – «Хочу». – «Давай!».

В Крестовых казармах была автошкола. Получил права и стал служить в автороте по снабжению. Возил картошку, капусту, дрова из леса – из Пампали. Отслужил четыре года, вернулся домой осенью 1953 года.

Брат вернулся домой в 1947 году.

Отец умер в лагере в 1942 году, об этом узнали осенью того же года. Шлипке написал. Где похоронен, не знаю...

Я работал шофером...

Выслали нас потому, что отец считался кулаком – было у него 70 гектаров земли.

Сибирь

АРИЯ ТИЦЕ (УПМАЛЕ)

родилась в 1938 году

Мой отец был членом Даугавпилсского окружного суда, мама работала в аптеке Красного Креста. Родители поженились в январе 1937 года. Жизнь складывалась благополучно, стабильно, никто и подумать не мог, как все изменится через несколько лет.

17 июня 1940 года латвийскую границу перешла армия СССР, и жизнь людей сразу же переменилась. 1 января 1941 года отца уволили с работы, приказали сдать всю атрибутику судьи – цепь и мантию. Когда отца уволили, мы переехали в Ригу, к однокурснику отца, в принадлежавшую ему большую квартиру на углу улиц Базницас и Гертрудес.

А потом очень скоро наступил страшный год и страшное число. Отец сказал маме, когда вошли советские войска, правда, крепко выражаться не любил, но на этот раз сказал: «Ну, женушка, дело дерьмо!». Он прекрасно понимал, какие могут быть последствия. Перед роковой датой отец ушел ночевать в другое место, люди что-то знали, что-то предчувствовали. А вот что могут взять жену и ребенка, это ему и в голову не приходило. Ночью пришли арестовывать, но в квартире нашли только маму. И тогда между ними начался разговор, один, желая помочь, сказал: «У нас нет ордера», на что второй ответил: «Возьмем семью, и сам придет!» Потом один остался стеречь маму, второй поехал в дом отца «Озолини», в Сунтажи, где нашел только меня – я жила у папиного брата, они там хозяйничали летом. Единственный эпизод, который запомнился: меня будят чужие дядьки, куда-то несут, я плачу. Потом помню, как ехали через Кангарские горы, мне стало плохо, они остановили машину, меня вырвало, и мы поехали дальше.

В это время мне было три года, мама говорила, что у меня начался понос. С собой было много пар штанишек, так что мы справились – все дела надо было делать в дыру, мне было страшно, внизу сверкали рельсы. Еще мама рассказывала, что на одной остановке дали довольно вкусный суп, но госпожа Беньямин, не знавшая, что ее ожидает, есть не стала, он оказался слишком жирный. Куда везут и что нас ожидает, никто не знал, думали, что везут на расстрел, все были угнетены.

Привезли нас туда, где кончаются рельсы, Молотовская область, Соликамский район, лагерь Сурмаг. Помню отдельные эпизоды. Помню, сразу же начался голод, мама рассказывала, что я спросила, можно ли есть картофельные очистки. Мама сказала, что заболит живот, но не успела она это сказать, как картофельные очистки исчезли у меня во рту. Был случай, как один заключенный вырвал у меня из рук картофелину, побежала жаловаться, что вот дядя, вор, украл у меня картошку. Позже мама мне сказала, что это плохой человек, но он тоже был голодный.

Мама работала в больнице, был там такой доктор Алкс, его семья – трое сыновей и дочка Лайма были в другом месте. Потом пришло известие, что Лайма умерла. Все женщины плакали, только доктор ходил с каменным лицом.

Меня держали в лагере, потому что я как будто бы была больна, медсестры меня стерегли, какая-то украинка, и доктор Алкс тоже, лишь бы только меня не отправили в детский дом, но пару раз я все же там побывала. Там были и русские дети, была дочка летчика, героя Советского Союза. Один из мальчиков, лет 13-ти или 14-ти, сказал: «Ария очень несчаст-

Вечерами, когда укладывались спать, я смотрела в полутьме на тополь за окном, думала о маме, звала ее по имени и плакала.

ная». Слово «нечастная» показалось мне очень красивым. Все дети смотрели на меня, и мне было приятно, что на меня обращают внимание. Дочка героя была круглолицая девочка, очень по-своему умненькая, учила нас, чтобы весь хлеб сразу не съедали, потом она его нам поделит. Я была самая младшая, должна была слушаться. Я хотела положить хлеб в тумбочку, но какая-то воспитательница с длинными светлыми косами увидела это и сказала, что прятать ничего нельзя, надо сразу же съедать. Я чувствовала, что не могу сделать то, что требует Шура, и была счастлива, что мне не придется отдавать ей свой хлеб.

Вечерами, когда укладывались спать, я смотрела в полутьме на тополь за окном, думала о маме, звала ее по имени и плакала. Еще помню, как в детском доме меня учили: «Быстро не ешь, ешь медленно, жуй, жуй!». Была у нас жареная картошка, кажется, американская помощь, о чем никто не говорил вслух. Я ела ее медленно-медленно, и мне хватало, я даже все не могла съесть.

Мама в сопровождении конвоя приходила меня проведать.

Помню еще, как девочки пытались что-то шить. Однажды мы с мамой стояли каждая по свою сторону колючей проволоки и разговаривали, не знаю, как это случилось, но каждая была на своей стороне. В больнице видела мертвецов. Мама говорила, что их грузили, как поленья, друг на друга, замерзших, где-то в погребе. Помню, как однажды мертвых вытряхивали из их одежды, чтобы ее сохранить. Взрослые заметили меня, стали махать рукой, чтобы я ушла.

У меня не было никаких игрушек, и я шла на воровство. Начальником лагеря была женщина, у нее был сын Алик, на год младше меня, и дочка подросток. Я утащила у них стеклянную пробку и крохотную ложечку. Девочка спросила у меня, где я ее взяла, и я гордо ответила, что мы ее привезли из Риги. Заключенные рассказывали, что на свете есть большие-пребольшие куклы. Я спрашивала, такие же, как я, отвечали, что немного не такие. И я стала мечтать о такой кукле. Однажды стащила где-то огрызок карандаша, мама спросила, где я его взяла, сказала, что нашла в снегу – вот такая глупая ложь. Игрушек никаких не было, а мне так хотелось их иметь.

Кухонные работницы и те, кто работал в больнице, в большинстве своем были латышки, я могу даже назвать некоторых. Была госпожа Беньямин, но она быстро умерла, она была недовольна тем, что я плачу, Илзе Зикмане меня защищала: «Она же хочет есть, поэтому плачет!». Была 19-летняя девушка Велта Залите, тоже с тяжелой судьбой. Ее отец был офицером Латвийской армии. Когда пришли их арестовывать, он встретил чекистов выстрелами, застрелил большую «шишку», пытался застрелиться сам, но жена его отвлекла, он выстрелил жене в ногу и все-таки застрелился. Где его похоронили, никто не знает. Велте еще не было 19 лет, она была у матери в больнице. Чекисты пришли за ними в больницу, но врачи мать не отдали, а Велту увели, так она оказалась в лагере. Была еще госпожа Залцмане, ее мужу принадлежала пароходная компания, брат ее еще долгое время работал журналистом в Швеции.

Доктор Алкс всячески пытался помочь, брал латышей в больницу, чтобы продлить им жизнь. Мама работала в больнице медсестрой, принял ее доктор Алкс.

Это был первый лагерь, «Сурмак», в котором мы пробыли около двух лет. И вот мы с сыном начальницы лагеря сговорились, что пойдем в тайгу, к какой-то тете Вале за пирогами. Одному было четыре, другому пять лет. Идем, идем, вдруг шум, грохот. Я пригнулась, знала, что это волки, сказала – это волки, но Алик, как и подобает мужчине, сказал: «Дурочка, это трактор». Идем дальше, начало темнеть. Нам стало страшно, пошли обратно. Помню, как мама бежала нам навстречу с совершенно безумным лицом, в глазах ужас, она и виноватой себя чувствовала – я была старшая, значит, если с нами что-то случится, виновата будет она.

Я не могла заснуть, мама носила меня на руках. Я плачу, не спали обе. Понимаю, как ей было трудно, – сама голодная, ребенок просит есть, а дать нечего. Стала понимать, когда у меня у самой росли дети.

Она рассказывала о Латвии, о латышском языке, все женщины говорили о Латвии как о стране, о которой можно только мечтать, я тоже слушала и думала, что и мы сможем вернуться. Такие вот высказывания слышала – «Хоть бы разок увидеть Латвию, тогда и умереть можно!» или «Хоть бы можно было в Латвии умереть!». Звучало в ушах, особенно когда я была маленькая. У мамы был хороший голос, и мы в два голоса пели с ней народные песни, она вторым голосом; очень много перепели народных латышских песен. Она говорила потом, что таким образом надеялась, если она умрет и я попаду в детский дом, я буду знать, что я латышка,

Ария

хотя бы через народные песни, потому что ребенок быстро забывает, кто он такой. Запомнились грустные песни, сиротские песни. Когда я приехала в Латвию, мне казалось, что я знаю все латышские народные песни, но оказалось, что далеко не все. Мама заставляла меня много петь, вероятно, это и придавало нам сил.

Случай этот произошел вскоре после нашего водворения в лагерь. Я закричала: «Папочка!». Мама всегда там была удручена, но ко мне всегда обращалась с улыбкой.

Прошло какое-то время, и мама написала письмо Калинину, он был членом политбюро, отвечал за заключенных. Ей ответили, что отец умер. Мама потом рассказывала, что некоторое время была не в себе, не причесывалась, для нее это был страшный удар, она думала, как будет гордиться, когда мы вернемся в Латвию, что сохранила меня. Отец был на восемь лет старше мамы, судья, возможно, мама испытывала рядом с ним какое-то чувство неполноценности, думала, что будет гордиться – вот какое дело она сделала, и чувствовала себя просто убитой. Но все-таки справилась.

Сын начальницы лагеря был моим дружком. Выполнял все, что бы я ни приказала. Мне нравилось, что есть кто-то, кем я могу покомандовать.

Два года пробыли в «Сурлаге», потом нас перевели в якобы более «легкий» лагерь, назывался он «Силянка». Там тоже была больница, были врачи, они тоже уберегали меня от детского дома. Помню, однажды пришла мама меня навестить, я ей машу, кричу, она как раз была на повороте, махнула рукой, но больше не оглянулась, сколько я ее ни звала, вероятно, плакала. Так и ушла, не оглянувшись.

Двор был огорожен колючей проволокой, но больше мне запомнилось время, когда мы были на свободе, но длилось это всего полгода. И тогда я заболела воспалением легких. Вообще-то болела не много, климат континентальный. Мама достала молока, 20 километров прошла, чтобы достать мед, она мне об этом не один раз рассказывала, но маленькая я не понимала, что это за расстояние. Сполоснула посудинку, в которой было молоко, и сказала, что водица была очень вкусная.

Помню, как жили в деревне. Мы тогда уже были свободны. Это был январь 1946 года, маму освободили за хорошее поведение. Жили мы в чьей-то избе. Это было в Силянке.

Там жили уже свободней. Женщины работали в садоводстве, приносили кое-что и домой, стало легче. Мы жили в одном доме с госпожой Залцмане, муж ее владел пароходством – когда-то они были очень богатые люди. Госпожа Залцмане как-то позвала меня в окно по-латышски, а я стеснялась, что она разговаривает со мной по-латышски, я даже не откликнулась. По селу ходили парни с гармошкой, две или три девушки с ними, и я маме рассказывала, как это красиво. Деревня была маленькая, они ходили из конца в конец и пели. Мама еще меня переспросила: «Тебе это действительно кажется красивым?». Было мне в то время семь с половиной лет.

Где-то у нас был клочок земли, посажена картошка. И вот мама стала хлопотать, чтобы мы вернулись в Латвию. Отпускать ее не хотели, сказали: «У нас вы будете как под крылом», так как официально в ссылке надо было прожить пять лет, а потом жить там, как предписано. С большим тру-

дом мама получила разрешение, и мы отправились в Латвию.

Сначала в Соликамск, потом в Молотов, в Пермь, большой город, областной центр. Госпожа Залцмане все время советовала нам посмотреть то и то, а сама глаз не спускала с наших чемоданов.

Маме посоветовала не класть вещи в кожаный чемодан, который нам вернули после конфискации, лучше взять фанерный, кожаный могут порезать, украсть. Но мама не поверила, но так и произошло – нас обокрали. Когда мы уезжали, маме выдали форменное платье цвета хаки, мне простые туфельки, думаю, это было из американской помощи.

Из Москвы мы приехали в Ригу, и госпожа Залцмане встретилась со своей сестрой. Жили мы в двухэтажном домике. Мама устроилась на работу, я жила у бабушки.

Первый семестр ходила в Гарсенскую основную школу, потом мама отвезла меня туда, где она работала в аптеке. Потом она стала заведовать этой аптекой.

Об отце мне рассказывала женщина из Сунтажи, она еще жива. В то время отец был в Риге, был у друзей или у родственников. Когда узнал, что с нами случилось, приехал в Сунтажи. Женщина эта рассказывала, что он был совсем седой, сказал ей: «Я должен быть с женой и дочкой». Брат его находился на строительстве Крустпилсского аэродрома, дома была только крестная. Он попрощался и пошел сдаваться.

После этого он прожил еще 10 месяцев. Причиной смерти назвали воспаление легких.

Мама писала Калинину, надеялась узнать о судьбе отца, прислали справку, что умер он в апреле 1942 года. Они там умирали десятками. Умер и отец.

В 1949 году, когда высылали второй раз, на аптечной кухне, где готовили лекарства, собрались офицеры, был среди них и какой-то большой начальник. Спросил меня: «Где вы были во время войны?». Сердечко мое, десятилетней девочки, сжалось, думала – что же сказать? Знала, что нельзя об этом говорить. Помолчала и ответила: «В Риге». Мама кивнула, я обрадовалась, что ответила правильно. Рядом с бывшим зданием волостной управы, где теперь находились исполком и аптека, стояло машин десять. Я обошла вокруг, там сидели мои одноклассники, был среди них и Эрнестс Скалбе, так грустно он на меня посмотрел. А до

Родители

этого я спросила у чекиста, хотя и знала сама, почему здесь столько машин. На что он мне ответил: «Так надо».

Я поступила в медицинский институт на фармацевтическое отделение. Вопрос анкеты о ссылке я обошла – то ли наврала, то ли еще как-то. Да и должность была невелика, чтобы разыскивать. Только однажды, когда я вовремя не встала на учет, из военкомата раздался сердитый звонок:

«Почему вы не на учете?». Мы все имели воинское звание, необходимо было встать на учет.

Своим детям я рассказывала, но мама меня все время притормаживала. Дети знали, что мы там были. Когда началась Атмода, я стала говорить об этом без опаски. А мама уже смирилась, просвета во тьме не видела. А я надеялась, молодая была. Получилось так, как получилось, и хотя не строго по-латышски, слишком уж мы разбавлены, но надо надеяться, что со временем станет лучше...

ДАЦЕ ТОМА (ЦИРУЛЕ)

родилась в 1937 году

В 1938 году родители перебрались жить в Ригу. Отец заведовал мельницей. Мама тоже работала по специальности, она окончила коммерческую школу. Отец окончил молочно-хозяйственную школу. Учился и в Швеции. Владел пятью языками. И мама знала несколько языков. К несчастью – русский язык тоже.

Когда вошли русские, родители вынуждены были уехать в «Вирги», заниматься собственным хозяйством. Хозяйство в свое время выделили деду, маминому отцу. Он сражался за независимость Латвии и погиб в июле 1919 года. Это была половина имения Мазирбе и 12 гектаров земли. Отец хотел оставить детям ценное наследство, докупил землю и хозяйственные постройки имения.

Старшие братья были приучены к работе. Мама и отец тоже много работали. Работник был всего один.

12 июня 1941 года мне исполнилось четыре года, болела коклюшем, но очень хотела отпраздновать свой день рождения. Мама поставила тесто для кренделя. А ночью пришли русские солдаты, с ними волостной начальник Блукс. Отца дома не было, он уехал в Приекуле на мельницу... Бабушка рассказывала: мама сидела и кричала, бабушка собиралась просить, чтобы меня, больную, ей оставили, но не осмелилась, потому что мама была невменяема. Солдаты складывали в мешки одежду, а Блукс разорвал на мелкие клочки маленький красно-бело-красный флажок.

Привезли нас на станцию в Приекуле. Мама посадила меня возле крохотного зарешеченного окошка, чтобы смотрела, не идет ли папа. Таким я его и запомнила – в коричневом полушубке...

Маму помню только по фотографиям. Везли нас в телячьем вагоне, людей было очень много. Помню, как плыли на барже. Я несла свою куклу и одеяльце, на узких сходнях одеяльце упало в воду. Я бросилась за ним, но мама меня подхватила, чтобы я не упала в воду.

Привезли нас в село Большая Кеть Пировского района, в самую тайгу. Начался пожар. Половина села сгорела, ферма тоже. Нас, малышей, отвели на опушку леса. Взрослые помогали тушить. Мама еще была жива. Жили мы в церкви. Все спали на полу, все подряд. Потом переселили нас на другой конец села. Там было два помещения, в одном спали все латыши, как селедки в бочке. Меняли одежду на продукты. Варили в общем котле.

В августе маму арестовали. Взрослая девочка вывела меня на улицу, чтобы я не видела, как маму допрашивают. Я с мамой даже не простилась. Только пыль столбом поднялась за машиной. Маме зачитали обвинительный приговор – за контрреволюционную агитацию. Язык русский она знала и откровенно говорила с русскими о Латвии, о том, как плохо живется в России. Во время обыска нашли форму айзсарга, Латвийский флаг, дневник, который она вела. Арестовали и госпожу Петрову, она тоже знала русский язык.

И остались мы четверо. Старшему, Улдису, 13 лет, Гунарсу неполных 12, сестре не было еще и 10-ти лет. Была жена крестного. Она наши вещи присвоила. О нас и не думала, била. Помню, как била старшего брата, ремнем. Хотя он ничего плохого не сделал. Он только приговаривал: «Ну, бей, еще бей!».

Тетка ушла жить в Пировское. И остались мы вчетвером. В первый год, когда в селе было много латышей, условия еще были более или менее нормальные. Ели все вместе. Шесть семей увезли еще дальше на север. Жен-

В августе маму арестовали. Взрослая девочка вывела меня на улицу, чтобы я не видела, как маму допрашивают.

щины с малолетними детьми остались. Три семьи: госпожа Скабаржа с сыном, она была командиром айзсаргов, муж ее полицейским. Он был в Вятлаге. Третья была семья Намниекс с тремя детьми.

И всех нас снова переселили в другой конец села. Намниексы спали в кухне на полу. Мы четверо и Скабарже с сыном в комнате. Помню, летом клопов было тьма. И вшивые мы были. Не было ни мыла, ничего. Летом оттирались в Енисее песком.

Добытчиком был Улдис. В лес его погнали в первую же зиму. Бригадир не умел ни читать, ни писать. Брат считался у него помощником, учетчиком. Записывал трудодни, считал. Ничего не платили. Сколько колхоз мог дать – горстку муки. Несколько килограммов муки.

Гунарс, ему уже было 13, был конюхом. Первая бригада от села находилась в восьми километрах, вторая бригада – в шестнадцати. И вот однажды замерзла трава. А Гунарс босиком. Попросил у бригадира денег, чтобы купить обувь. А тот ответил: «Я тебе не отец. Чего у меня просишь?». Улдис заменял мне и маму, и отца. Где он достал молока, не знаю, принес однажды в берестяном туеске несколько глотков.

Уборных в России не было... Свиньи стояли, ждали, когда можно будет что-то съесть. Скотина тоже была полуголодная. Я не понимала, почему вдруг русские дети начинали меня бить, обзывать фашистом. Потом из книг узнала, что они считали нас виноватыми, когда кто-то у них погибал. Я старалась с русскими детьми не водиться. Не в моем это было характере – вымаливать дружбу. Сестра Рита, та с ними общалась больше. Не знаю, откуда у меня это в характере. Бывали дни, когда во рту не было ни крошки. Летом рвали лебеду, если была соль, ела, если соли не было, кидалась на землю. Старший брат уговаривал, чтоб я поела, больше ничего нет. Когда давали муку, мы ее к траве добавляли, тогда есть можно было.

Следующим летом посадили картошку. Гунарс выкапывал ямки, я бросала картофелины. Ходили с Гунарсом искать картошку. Гунарс выкапывал с чужих огородов. Я говорила: «Это не наше!». Слышала в ответ: «Что ты понимаешь!». Русские

Мать Алвине, Даце и Рита

давали очистки, мороженую картошку. В лесу были грибы, ягоды. Если не было соли, грибы не сохранить. На русском кладбище росла крупная земляника. Кто-то сказал, но я на кладбище за земляникой не ходила.

Рождество или Пасха. Латыши сидят за столом, была ли еда, не помню, но песни пели.

В школу не ходила. Но буквы писать училась. Однажды Гунарс посадил меня на колени, держал мою руку и мы рисовали папе розу. Ему нравилась рождественская песня о розе. Отправили в Вятлаг, пока папа был еще жив.

О маме ничего не знаю. В 1943 году пришло известие, что папа умер. Я весь день плакала. Я все время ждала, что он приедет. Тетка еще в селе начала гулять с чекистами. Ела, угощалась. Нас не впускала. У нее родился Марис от русского. Она взяла меня в Пировск, чтобы я за ребенком присматривала. Было мне шесть лет.

Русские дети меня били, обзывали. Одна семья относилась очень хорошо. Угощали пеной с молока, когда доили. У них и у самих ничего не было. И ленивые были. Не хотели работать. Бригадир с палкой ходил вдоль заборов, будил, чтобы вовремя на работу выходили. И свиньи голодали, и коровы, еле пол-литра молока надаивали. Соседи попросили меня днем присматривать за грудничком. Смотрела, кормила. Его кашку не ела. Мальчик заболел и умер. Русские стали говорить, что фашистка съела его кашку, вот он и умер. Как я переживала!

В 1946 году пришло сообщение, что можем ехать домой. Документы оформил писатель Саулескалнс. Он тоже был в Вятлаге, вместе с отцом. Знакомы они были еще со времен Лиепайского театра. Отец просил его, чтобы позаботился о детях. Улдису исполнилось 18 лет. Отпускать его не хотели, но потом все же отпустили. На машине отвезли из Пировска в Красноярск. Жили в школе для глухонемых, пока не привезли всех детей. Было там холодно, кормили плохо. Нравилось, что издали видны были огни Красноярска.

Ехали в обычном вагоне. Много нас было... вначале ели хлеб, который испекла сестра. В мешочке были кедровые орехи – гостинец бабушке. Окно.

Семья Томс: Гунарс, отец Карлис Албертс, Рита, Улдис, мать Алвине, Даце

Одежда была разного размера, кому какая досталась, выглядели мы пугалами. Когда подъезжали к Москве, выдали одежду, свою выбросили в окно. Я в вагоне была самая младшая, мне было девять лет.

Перед Москвой стали кормить. До этого долго не ели. Когда стали подъезжать к границе Латвии, старшие ребята запели. На станции встречало очень много народу. Повезли в детский приют. Помыли, избавили от вшей. Хорошо накормили. Водили по докторам на проверки. Жили в приюте две недели, Улдиса отпустили сразу. Но забрать нас ему не разрешили – у него не было работы. Бабушке было 76 лет, ей тоже не разрешили нас взять. Забрала из детдома нас мамина двоюродная сестра Маде Лиепа из Лиепаи. Приехала за нами в Ригу. В Лиепае нас встречал Зигурдс Плуме на лошади и отвез к бабушке в «Вирги». Дом был разрушен, в хлеву были какие-то помещения, бабушка там и жила. Я в первый же день обошла развалины, сад. И только тогда вернулась в комнату. Взрослые сидели за столом.

Посаженная отцом березовая роща. Туда я приходила каждый день.

Одежды не было, денег на книги тоже не было, обуви не было. Я быстро научилась читать и считать. Азбуку мне прислала бабушка в Россию. Тетка и ее прибрала к рукам. В школу в первый год после приезда не ходила, занималась дома. Болела. Брат носил мои тетрадки в школу, показывал учителям. Электричества в доме не было. Керосиновые лампы. Гунарс пошел сразу в 6-й класс, школу окончил отличником. Сестра ходила в 5-й класс, у нее дела были не такие блестящие. Условия вообще не благоприятствовали учебе. Возникли колхозы, в 17 лет пошла работать дояркой. Надо было зарабатывать. В хозяйстве были корова, свиньи, утки. Надо было возить на базар продавать, налоги были высокие. Молоко надо было сдавать, шерсть овечью тоже. Если не выполнишь поставки, их еще увеличат – кулацкое хозяйство. Трудно было.

Мне не исполнилось еще и 14 лет, стали меня тащить в комсомол. Бабушка сказала – нельзя. Был месяц, когда меня каждый день вызывали в учительскую. Если не вступлю, седьмой класс, мол, не окончу. Улдис сказал: «Ничего не поделаешь, вступай, а то трудно будет».

В райкоме в Приекуле спросили – не была ли я репрессирована. А я не понимала, что значит это слово. Не знаю, говорю. Стали они обсуждать, можно ли принять. Где-то в 6-м классе приняли. Билет валялся среди книжек. Попросили как-то показать. Искала, найти не могла. Оказалось, Велта отнесла в учительскую. Комсомольский билет на груди надо носить, сказали мне.

Училась хорошо, окончила 7-й класс. Во время экзаменов заболела, хотели освободить, но я не согласилась, все экзамены сдала и поступила в Каздангский техникум.

Улдиса призвали в армию. Там он сумел окончить и 7-й класс, и среднюю школу. На сверхсрочной службе был старшиной. Поступил на заочное отделение в военную академию. Перевели его в Оренбург, потом в Армению. Там он был начфином части. Во Владимире был главным ревизором... Раскрыл грузинскую группу... передал дело в Москву. Они грозились его убить. Жена уговорила уйти. Ушел в госпиталь во Владимире главным бухгалтером. Проработал там до самой смерти в 2000 году, был ему 71 год.

Пока были в России, о маме ничего не знали. Тетя Маде Лиепа здесь искала маму. Ничего конкретного узнать не смогла. Я жила надеждой, что мама все-таки вернется. Тетя мне все время говорила: «Все сделай, вымой ноги, убери комнату, чтобы все было в порядке, когда мама вернется».

В 1953 году, когда умер Сталин, сказали, что маму расстреляли в декабре 1941 года.

Гунарс интересовался в Красноярской тюрьме маминой судьбой, выяснил, что сдали ее пять русских женщин, слышали, что она говорит. Приговорена к смерти за контрреволюционную деятельность. Мы многого о маме не знали. Милда Видиня рассказывала, что видела, как маму везли через Бельскую привязанной к саням. С мамой они знакомы были по Лиепае. Мама только сказала: «Не подходи ко мне, а то и тебя постигнет та же судьба. Меня везут на расстрел за контрреволюционную деятельность».

Главная чекистка, которая выдала маму, во времена Горбачева повесилась. Все время говорила: «Хорошо, что дети уехали». Боялась нас. Этого никогда не прощу.

Паплакский барон отцом был недоволен, отец платил работникам больше. Работник и работница ели за одним столом с хозяевами. Работник Ансис, когда мы вернулись из России, относился к нам, как к своим детям. Моя нянечка в Лиепае, Приедниеце, ко мне относилась, как к своей дочке. Ни от кого ни одного плохого слова о своих родителях мы не слышали. Даже коммунист Шиферс, усадив меня в свои дрожки, сказал: «Расти достойной своего отца».

РИТА ТОМА (КАРУЛЕ)

родилась в 1931 году

Вначале мы жили в Лиепае. Мама работала главным бухгалтером на молочном заводе, отец работал там же. Когда стали делить землю, мы переселились в «Вирги». Где-то в 1934 году отец стал владельцем этого хозяйства.

В 1941 году нас выслали. Отца не было дома, маленькая сестренка, которой в то время было четыре года, была больна. Помню, как вошли русские и кричали: «Мешки, мешки!». Велели открыть шкаф и складывать в мешки одежду. Мама знала русский язык, мы не знали. У мамы была вышитая газетница, они решили, что вышита на ней свастика, но это был огненный крест – похожий, только в другую сторону. Взяли с собой. Братья в учебниках по истории с портретами Сталина и прочих пририсовали кому усы, кому очки. Все забрали в качестве доказательств. Бабушку не тронули. Машина уже ждала внизу. Жагарс, – кажется, так звали волостного старосту, – забросил наши мешки в машину. Спустились вниз и братья – они жили в комнате на чердаке. Привезли на станцию в Приекуле, посадили в вагоны. Отец с самого утра уехал на мельницу в Приекуле, там его и взяли. Посадили его в другой вагон. Всех мужчин посадили отдельно от семей. В последний раз я видела отца через окошко, когда он махнул мне рукой.

Мы уже были в России, когда нас выпустили. Воду приносили в ведрах. Вагон был переполнен. Спали на нарах, на верхних. Привезли в Красноярск, потом, как мне помнится, плыли по Енисею. Неожиданно пароход стало трясти, никто не знал, что происходит. Там были мели, течение стремительное. Пароход повернулся вокруг своей оси, потом поплыл дальше. Когда приехали на место, полил дождь. Завели в бараки. А потом стали нами торговать – приехали на телегах, как за товаром. Развезли семьи в разные стороны. Нас привезли в село Большая Кеть Пировского района. Было нас три семьи Элза Скабаржу из Вирги, наша семья, Петровы из Лиепаи. Деревня находилась на берегу реки, до ближайшей железнодорожной станции было 360 километров. Гунарс и Даце через какое-то время уехали в Пировск, к жене папиного брата, которая там жила. Мы с Улдисом остались. Улдис пошел работать. Голова у него была хорошая. Одно время он работал учетчиком. Я с другими детьми бродила по лесу. Искали ягоды. Лису красивую видели. Медвежата бродили, красивые. Ягод там видимо-невидимо – черная смородина, красная смородина. Клюква и брусника крупные. Собирали черемшу, солили на зиму. На реке стояла мельница, мы ходили, сметали остатки муки, пекли лепешки.

Вначале мы с братом жили в комнатке с семьей Намниекс из Бунки. Было нас там семей восемь. Через какое-то время семью Седолс отправили на Север. Госпожу Петрову тоже арестовали, вслед за мамой. Остался ее сын, которого тоже услали на Север. Семью Лукажс из Калеты тоже отправили на Север. У кого дети были постарше, всех увозили на Север, никого не оставили. Остались мы и Скабаржа Элза с сыном.

Школа была рядом. В 1943 году на Пасху сгорела чуть ли не половина деревни – 36 домов вспыхнули как коробок спичек. Один за другим. Загорелось все от трубы. Наш дом, на другом краю деревни, уцелел. А так как брат должен был работать, ушли мы к пасечнику. Очень далеко. Нас угостили медом, а мы их ягодами.

Я помню, как мы с Гунарсом ходили в лес пилить дрова. Я обрубала сучья. А мороз там большой, руки не слушаются, и я со всего размаху разрубила себе ногу.

Зимой обходились тем, что заготовили летом. Клюкву ссыпали в ящик вместе с мхом. Брат на работе получал муку, я училась печь хлеб. Добавляли картошку. Помню, как Намниеце учила меня вязать носки. А было мне тогда 10 лет.

Через год, в день Победы, мы радовались, что наконец-то поедем домой. И бабушка хлопотала о нашем отъезде. Но вернулись только в 1946 году. Когда мне было 12 лет, мы пилили березовые чурки, которыми топили тракторы.

Я в Латвии окончила 1-й класс, когда нас привезли, в школу не ходили, через год снова пошла в 1-й класс – русский язык уже знала. Отучилась четыре года, а когда приехали в Латвию, снова пошла в 4-й класс. Писала по-латышски очень плохо. Разговаривали между собой по-латышски.

В Сибири до нас никому не было никакого дела. Могли делать, что хотим. Но куда пойдешь в этой вековечной тайге? До Пировска 40 километров, однажды пошла туда пешком – к сестре и к брату. Тетя всех к себе брать не хотела – зачем ей четверо? Она была молодая, только год как вышла замуж за папиного брата. Время от времени мы там бывали.

Я помню, как мы с Гунарсом ходили в лес пилить дрова. Я обрубала сучья. А мороз там большой, руки не слушаются, и я со всего размаху разрубила себе ногу. Гунарс взял свой ремень, стянул ногу, чтобы остановить кровь. Пировская больница была не так далеко. Доктор Шнейдере, из Латвии, зашила рану. В Сибири мы пробыли пять лет, даже немного больше.

Папина мама осталась в Вирги. Все тетушки нам писали. Тогда и назвали нас сиротами, сказали, что повезут нас домой.

Уезжали мы в сентябре. Провожала нас вся деревня. Отвезли в Красноярск, там ждали вагон, специально для нас предназначенный. Детей было много. Был такой Саулескалнс, бывший администратор Лиепайского театра, тоже высланный, он отвечал за наш вагон. С отцом они были знакомы по Лиепае.

Одни ехали легально, другие нелегально, кто как сумел. Когда приехали в Москву, вместо нашей кишевшей вшами одежды дали нам присланную американцами. У меня было коричневое платьице.

В Латвии нас поместили в детский дом, а Улдис был уже совершеннолетний, его отпустили к тете, и она за нами приехала. Были мы там неделю, не больше.

Когда приехали домой, бросились разыскивать маму. И тогда меня вызвали в Приекуле. Даце была еще несовершеннолетняя, ее не вызывали. Шла я туда пешком, автобусы от нас не ходили. Всю дорогу ревела, думала, что и меня арестуют, как маму.

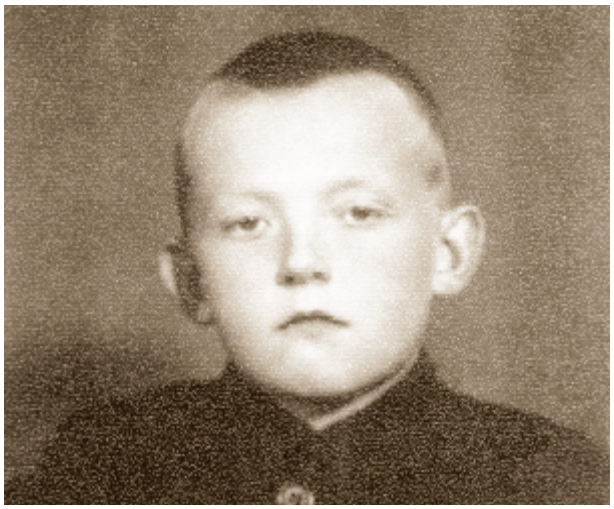
Когда я вошла в кабинет к начальнику милиции, он закрыл двери, и мне стало совсем плохо. Включил музыку и стал задавать вопросы и сам же отвечать: «У вас есть тетя по фамилии Лиепа? Она искала Алвину Томс. Ответ такой: там ее уже нет, она в другом месте. Второй раз сказали, что она осуждена надолго и не имеет права переписываться». Потом пришло известие, что она находится в Зирньской волости Вентспилского района. Гунарс поехал, но это оказалась совершенно другая женщина, совпали и имя, и фамилия. Не совпало отчество. Не могло же быть так, чтобы мама жила рядом и не разыскивала детей. Оказалось, что ее расстреляли еще в 1941 году. Так нас обманывали все годы.

Об отце мы узнали от тети. Никто не сообщал о погибших. Отца отправили в Кировскую область, в Вятлаг. Отец нам писал, когда маму уже арестовали. Мы с ним переписывались. В том же лагере была и наша тетя из Айзпуте по фамилии Штофс. Нам рассказали, что в лагере была баня, она загорелась, отец простудился. И ходил на тяжелые работы. Так он и умер в 1943 году, когда ему было 42 года.

Когда вернулись домой, узнали, что дом наш сгорел в последний день войны, но мы еще успели там пожить, в надворных постройках. Через некоторое время нас оттуда выселили – потребовалось помещение под склад для армейских нужд.

Бабушка ушла жить к соседям. Тогда уже были колхозы, я подрядилась в доярки, стала жить собственной жизнью.

В 1949 году начали высылать второй раз, это время я помню лучше, чем свою ссылку, – в нашу конюшню привели колхозных коров, я уже работала. Мне пришлось запрягать лошадь и везти свою подругу Аустру Кюде. Она жила с нами, ее дом сгорел. Утром рано пришел волостной начальник и приказал: «Иди, запрягай лошадь!». Хорошо, что русские были другие, чем наши. Она уже готова была к отъезду, как чувствовала, мужа ее уже не было. Дома у нее было пусто. Попросила: «Если тебе разрешат, сбегай к соседям, достань хоть муки, хоть свинины кусок». Коптили в другом доме. Хорошо, что солдат разрешил мне сходить. Людей брали в каждом втором, третьем доме, сестру ее тоже взяли. В 1941 году из Вирги взяли четыре семьи, были это Плацени, Жакарс, Скабаржи и мы, а в 1949 году взяли человек 30 или даже больше...



ГУНАРС ТОМС

родился в 1929 году

В 1940 году, когда вошла советская армия, отец приобрел хозяйство недалеко от Лиепаи. Из города уехали. Я учился в Виргской шестилетней школе в 4-м классе. 14 июня 1941 года, когда отец был в Приекуле, во двор въехала грузовая машина, в ней сидело трое солдат с винтовками и два человека в гражданском. Мама плакала. Сказали, что надо собираться, что нас повезут в Россию. Слышал, как сказали, чтобы мы нашли мешки, что пригодится все, что возьмете с собой. Погрузили нас в машину и увезли в Приекуле на станцию. Об отце ничего не знали. Все вагоны притащили в Лиепаю, где комплектовался эшелон.

Первая остановка была в Елгаве, разрешили сходить за водой. Можно было убежать, но не убежали. Прицепили к эшелону вагон-лавку, можно было что-то купить. Открылась дверь, солдат проорал: «За кипятком!», на станциях давали и кашу, иногда суп. Пели печальную песню «О Родине грустная песня звучит», навстречу шли эшелоны с солдатами, были среди них и латыши, подходили поговорить. Они говорили, что в Сибири есть места, где латыши живут еще с царских времен, есть даже такие места, где живут одни латыши. Туда нас, конечно, не отвезли.

Проезжали красивые места. Доставили нас в Красноярск. Высадили на площади, потом перевезли на один из островов Енисея. Житье там было трудное. Совсем маленьких детей в нашем вагоне не было. Один только мальчишечка годовалый. Никто в вагоне не умер.

Обычный вагон для перевозки скота, дыру в полу – туалет – огородили простынями. В вагоне было тридцать человек. Высадили в Галанино. В середине июля. Тучи мошки, гнуса, спасения не было, потом приехали за нами колымаги. Привезли в Пировск, оттуда семь семей – в село Большая Кеть. Поселили в рубленой избе, в двух комнатах. Село расположено в излучине реки. Мы с братом Улдисом, Намниексы – Янис и Карлис, Юрис Петров. Ближайшие поля в 10 километрах. Вначале косили сено, нам поручили ручную работу. Ели все из одного котла, деревянными ложками. Картошку варили в мундире. Все, что взяли из дома, все подъели. На трудодни ничего не давали. 4 августа отправили теребить коноплю. Мама взяла на себя заботу о высланных семьях. Вызвали ее в центр, и с того дня маму я больше не видел...

Через неделю, 10 августа, арестовали госпожу Петрову. Нас было четверо. Мне 12 лет, брату 13 с половиной, сестре Рите 10, Даце четыре года. И остались мы без родителей.

В селе, где мы жили, люди и сами бедствовали, но были очень отзывчивые. Ходили в Туруханку – татарское село, ходили за 12 километров в Ковригу – менять вещи. Татары русского языка не знали. Каким-то словам по-татарски мы научились: хлеб, картошка, ведро. Татары были людьми гостеприимными. Слава Богу, что нам разрешили взять с собой много вещей. С санками тащились за 40 километров на север, в село, где жил один латыш, осевший здесь еще до Первой мировой войны, метеоролог. У него была своя лошадь, станция. Менял продукты только на серебряные или золотые вещи, за золотую чайную ложечку давал буханку хлеба. Приходилось мириться.

На реке была мельница, примитивная, но муку молола, ходили туда, сметали мучную пыль, соли там не было. В первую зиму мороз доходил до минус 56 градусов, сани

Мама взяла на себя заботу о высланных семьях. Вызвали ее в центр, и с того дня маму я больше не видел...

так скрипели на снегу, что спать мешали. Велено было нам пилить бревна на кругляши толщиной пять сантиметров, колоть на чурочки для генераторов. Пилили при минус 50. А замерзшее бревно твердое, как камень. Вносили в помещение, там и работали. Колодцев не было, воду носили из реки, шли гуськом, как рабы. Не было и туалетов, ходили за сарайчики, там уже свиньи ждали, чтобы тут же съесть. Коровы бродили по селу и вокруг и зимой, снег им был нипочем.

В селе была четырехлетка. Один учитель на все классы. Я окончил четыре класса, брат – пять, и стал в колхозе бухгалтером. Вернулся из Сибири, и тут был бухгалтером. Ходила в школу и вторая сестра. Я школу окончил, считался образованным.

Самое страшное было в том, что через год людей повезли еще дальше на Север. Мы и Намниексы остались на старом месте. Остальных увезли в пояс вечной мерзлоты. Тетя Элла нашла работу в районном центре, взяла к себе меня и маленькую Даце. Жили у нее год или полтора. Она держала меня больше как работника, корову надо было доить, все прибирать. Вначале жили несколько семей вместе.

В Пировске тоже было нелегко. Тетя Элла работала бухгалтером в конторе «Заготзерно», устроила меня на работу в зерносушилку. Там можно было грызть зерно, горох. Позже мы и еще одна семья перешли жить в землянку. Я соорудил из бревен хлев для коров. Ездил воровать сено, заготавливать дрова. Хлеба давали 200 граммов на день. У тети Эллы появился жених, директор, я реагировал на это очень болезненно. Часто и хлеба того не было, вместо хлеба давали килограмм картошки, зимой картошка была мороженая.

Раз в месяц все должны были отмечаться в НКВД. Нам сказали, что на поселении нам предстоит провести всю жизнь и привезли нас, чтобы мы здесь погибли. В том районе было довольно много латышей. Из Лиепаи взяли врача Сникере, она второй год была главврачом Пировской больницы. В 1943 году я заболел воспалением легких. Тетя Элла сказала, что надо привезти дров прежде чем я уйду на работу, но мне стало плохо, поднялась температура до 40 градусов. Хорошо, что в больнице была госпожа Сникере. Она знала моих родителей. Девять недель я провалялся в горячке. Поправился. Госпожа Атупа из Лиепаи организовала производство, где латышские женщины, уже немолодые, работали в тепле. Это был как бы латышский центр. Тетя Элла была красивая женщина, оперная певица, распевала свои арии, не позволяла людям погружаться в уныние. Госпожа Антупа устроила меня на молокозавод конюхом. Я гонял лошадь, которая сбивала масло, раз в неделю давали мне пахтанье. Когда вернулся домой, еще 16 лет был на учете в тубдиспансере. Слава богу, прожил 70 лет, все зажило.

Да и конюхом было нелегко. Сено косили вручную. Летом домой не отвозили, дороги не было, зимой ездили на лошади, откопаешь, привезешь, через месяц снова надо откапывать, все снегом замело. На молокозаводе работал один украинец, арестовали его еще 1933 году. Вдвоем заготавливали дощечки для бочек, я был проворный парнишка.

У меня был свой огородик, две лошади. В первый год кабаны всю морковь съели. Корзины плел. Подрабатывал. Масло возили за 300 километров при 45-градусном морозе. Нашлась шуба, сверху собачья полость, рукавицы из собачьей шкуры, ездили в Казачинск, там разместили пленных немцев. Ходили в тонких шинелишках, в деревянных чоботах.

Через полтора года приехал брат, и мы с сестрой вернулись в Большую Кеть.

В Пировске сестренка подошла к тете Элле, взяла кусочек сахара, так та ее чуть розгами не отстегала. Я считал – раз мне 12 лет, я уже взрослый, а ее вот некому было воспитывать.

У колхоза была пасека, 400 ульев. Пришли на пасеку, пасечник весь стол уставил сладостями, ешь, сколько хочешь. У брата была бочка, в которой мед вытапливали. Ходили воровать. Например, ведра три, приносили домой, ставили в погреб.

Элза пасла овец, время от времени овцу забивали. А что было делать – есть-то надо было. Уплывали по реке километров за 50, вылезали на берег, ставили шалаш из веток. В охотничьей избушке охотник обязательно оставлял какую-нибудь еду, дрова для растопки. Собирали кедровые орехи. Река извилистая, во время половодья нанесет гряды бревен, настоящий дровяной склад. Бревна, долго пролежавшие в воде, становились твердыми, как железо. Места там на редкость щедрые. Весной черемшу запихивали в рот горстями. Были там еще лилии, луковицы их по вкусу напоминают бананы. Природа там удивительная. Лисичек, ягод тьма.

Змей нет. Болота клюквенные. И клюкву собирали. В тайге можно было охотиться с лайкой. А если медведь попробовал человечьей крови, становился опасным. Черная и красная смородина, как в наших садах. Земляники на лугах полно.

В тайге дрова можно было заготовить из сухих деревьев. Молотили там интересно. Хлеб убирали серпами. Молотилка высотой с метр. Женщины подбирали солому, полову от зерна отделяли на ручных веялках. Очень примитивно. Такая отсталость меня просто поразила.

Я считаю, что война в какой-то мере подтолкнула развитие Сибири, так как люди узнали, что происходит в других местах.

Меня назначили помощником смолокура. Весной сдирали бересту, складывали в кучи. Насыпали землю и солому, бересту поджигали. Деготь использовали как смазку. Мазали животных, руки, лицо. Я и землю пахал. Пахарями были мы, 12–13-летние мальчишки. Запрягали двух лошадей, плуги были колесные, так что у мальчишек сил хватало. Была еще интересная работа в городской бане. Немцы с Поволжья умирали часто. Парикмахер был немец. Воду грели в бочках. Я должен был наполнить бочку, работа тяжелая. Надо было подписаться на военный заем в размере трех зарплат. В конце войны тем, кто ходил голосовать, давали леденцы и килограмм сахара. В дело шли и американские мешки из-под продуктов – из них шили одежду. Отмечали Рождество, мастерили свечки. Все время думали о том, как попасть домой, и о еде. Если бы не было надежды, думаю, домой бы не вернулся.

В тайге кедры, красивые деревья с мягкими длинными густыми хвоинками – лиственницы. Орешки сами осыпались. Они нас и спасали. Березовые почки сдавали государству, зарабатывали. Еще черемша. На зиму бочками солили, отправляли в армию. Сейчас ее и у нас находят.

В школу я не ходил.

Весной 1946 года сказали, что сироты могут ехать домой. Мы тоже были вроде бы сироты. Маму расстреляли, когда ей было 36 лет. Остались четверо детей. Мама три месяца ждала расстрела. Искал ее. Отозвалась Милда Видиня. Маму везли через село Бельское, в октябре. Милда стояла на обочине дороги, мимо в санях везли маму. Сказала, что везут ее на расстрел.

Я считался сыном врага народа. Волдемарс Саулескалнс сопровождал детей в Латвию. Собрали в Пировске, до Красноярска везли на машине. Обувь сшили из оленьих шкур. В Красноярске неделю жили в интернате для глухонемых детей. Еды не было. Собрали нас человек 100, запихнули всех в один вагон. Чем-то в дороге кормили. Три дня вообще не ели. Привезли в Москву. Ростом я был невелик, хотя мне было уже 17 лет. В Ригу приехали в октябре, обуви у меня не было, босиком. В детском доме к нам обратился Кирхенштейн. Помню, как доктор сказала: «Бог ты мой, почти у всех детей сердце, как у лошади».

Через месяц пришла за мной дальняя родственница. В Вирги нас ждала бабушка. Жилой дом во время войны был разрушен. Сохранилось помещение, где готовили корм для скота, там мы и жили. Пришла учительница. Я сказал, что пойду в 6-й класс. Документов у меня не было. Пошел в милицию, а там говорят – почему нет паспорта, в 16 лет надо было получить. Объяснил, откуда я. А мне – ничего не знаю, идите туда, где были, там и получайте. Со слезами пошел к тете Элвире, она знала начальника. Выдали мне справку на три месяца.

Каждый третий месяц надо было идти регистрироваться. Паспорт получил только в 1951 году, в родном городе. Школу окончил отличником. При поступлении в техникум написал в биографии, что после нападения фашистских оккупантов мы вынуждены были выехать в Россию. Родители умерли. Поступил в техникум в Лиепае. Потом перешел в Каздангский техникум. Поддержки здесь ни от кого не было, просто чуть-чуть лучше, чем в Сибири. Учился на механика, учился хорошо, играл в волейбол. Был случай, пришлось кое-кому дать по морде, проучить компанию. Нас двоих исключили. Восстал весь техникум. Я был отличником, старостой курса, председателем физколлектива. Даже комсомольцы написали письмо, которое подписали 400 человек. Был там такой Пушмуцанс, коммунист, сказал: «Нам дети врагов народа не нужны». Хорошо, что ничего не написали в свидетельстве. Был там учитель Видениекс, брат Алфредса Видениекса, когда-то работал с Вилисом Лацисом в газете «Яунакас Зиняс», он написал рекомендательное письмо в Кандавский техникум. Там ответили: «В техникум этой системы принять не можем». Пошли работать на Айзпутскую МТС.

Работал токарем. Потом назначили нормировщиком. Выезжал из мастерских на отремонти-

рованном тракторе, сломалась коробка передач, нашли посторонний предмет. Кто виноват? Я. К счастью, начальником чека в Айзпуте был грузин Бюдзе. Позвал он меня, поговорили, я спросил – неужели же ты думаешь, что мы такие дураки, что вшивый трактор ломать станем? Он мне поверил. В Лиепае открылся вечерний техникум. Приехал в Лиепаю, выдали мне паспорт. Прописали временно – на время учебы. Значит, работа не светит. Был там такой Мекис, подписывал в 1941 году документы о высылке, начальником НКВД был в 1941 году. Сказал – пропишу, но за хулиганские действия выгоню. Не хотели меня прописывать в моем родном городе. Заочно окончил всесоюзный вуз, работал на «Лиепаяс металургс».

Наверх я пробился только благодаря собственным усилиям, работе. Не хотели назначать начальником мартеновского цеха, я шел вперед, ничего не боялся. Позже работал инспектором в отделе технического контроля.

Когда приехал в Латвию, замкнулся. Все держались от меня на расстоянии, но когда познакомились поближе, стали лучшими друзьями. В мартеновском цеху работало тогда 700 человек, и я интуитивно, когда первый раз встретился, понял, что с этими людьми откровенничать нельзя. Все копил в себе. И я почти не ошибался. Пришел к врачу, и он мне сказал, что если я и дальше буду себя так вести, все в себе держать, жить будет совсем трудно. Я перестал замыкаться. Насколько-то это удалось, частично.

У меня две дочери, обе живут в Лиепае. Отцом я был строгим.

У меня есть справки 1939 года – сколько и что было. В улманисовские времена, когда мне было семь лет, разбирали здания, нас снарядили очищать кирпичи, за 100 штук платили один лат. Отец знал, что надо приучать к труду. Мама тоже была строгая: не нравится, не ешь, съешь за ужином. В Сибири я рад был, что приучен к труду.

Алвине, мать Гунарса

Гунарс с братом Улдисом. Латвия

ЛИВИЯ ТРАНЕ

родилась в 1933 году

Я родилась 16 июня 1933 года. Родители занимались сельским трудом. Я в семье была третьим ребенком. Брат Зиедонис родился в 1927 году, Иварс – в 1929-м, младший Янис родился в 1938 году. Все мы работали в своем хозяйстве, особенно старшие братья.

14 июня родители уже позавтракали, разошлись по своим делам – мама в кухне затворила тесто, отец отправился перевязывать лошадей. Я только что встала, подошла к столу, и тут вошли трое в темно-серых костюмах. Вид у них был встревоженный, они все время осматривались, спросили, где родители. Когда я ответила, что не знаю, на меня накричали, сказали, чтобы я не врала, а то будет хуже. Младший братишка еще спал. Один из них взял меня за руку, сказал – пошли искать родителей. Обошли все хозяйственные постройки, никого не нашли, остальные разошлись. Когда все собрались во дворе, с ними был и отец. Все вошли в дом и сообщили, что семья арестована, что надо собирать вещи.

Оказалось, что машину они оставили на дороге за садом, потом она заехала во двор. В машине были двое или трое в военной форме с винтовками. Они встали возле дверей. Отец состоял в обществе охотников, ему приказали сдать оружие. И он стал собирать вещи. И мама собирала вещи для нас. Кто-то еще раньше зашел в кухню и сказал, что тесто ей не понадобится, испечь хлеб она не успеет.

Ничего другого не оставалось, как подчиниться. Слышала, как отец просил не разлучать с семьей, маме не справиться с четырьмя детьми. Но есть приказ – семьи разделить, так что и вещи складывайте отдельно. Длилось все примерно час. Потом повели в машину. Слышала, как маме сказали – продукты не нужны, там дадут. В машине сидели еще две семьи из нашей волости.

Мама несла брата, он ни за что не хотел садиться в машину, хватался за косяк двери, кричал. Вероятно, испугался. Мама тоже, конечно, плакала. Сели в машину и поехали за соседями, чей дом виден был с нашего двора. Похоже было, что тот, кого собирались арестовать, почувствовал опасность и убежал. Жену с ребенком, которому было несколько месяцев, посадили в машину. Она кричала, звала, он из ближнего леска, вероятно, видел, что происходит, и вышел и сел в машину.

Весь следующий день стояли, поехали только 16-го. Крики в эшелоне становились все громче, просто настоящий хор. Постепенно все стихло. Мы сидели на нижних нарах, вся наша семья. Чтобы что-то видеть, брат проковырял ножиком стене щель. Окна были только наверху, забраны решетками. Нам в щель было кое-что видно. Переехали границу, и поразила серость, серые домишки под серыми крышами. И чем дальше мы ехали, тем нищета становилась все очевиднее.

Приехали за Урал. Несколько суток находились в каком-то пристанционном сквере. Хорошо, что дождь лил с перерывами. Там и спали. Кто-то бродил, не мог усидеть на месте. Много нас было, вероятно, из нескольких вагонов высадили. Там у нас украли чемодан. Братья пошли искать, нашли пустой. Многих там обворовали. Некоторые были с мешками. Мы перебрались к ограждению, подальше от тропинки, но там-то, вероятно, больше всего и воровали. У многих были разрезаны мешки.

Потом отвели в барак, из барака стали развозить по районам. Мы попали в Тайменку Уярского района.

Когда маленький брат заболел, он все просил и просил у мамы хоть маленький кусочек хлеба.

Разместили в школе. Из Уяра нас вместе с другими семьями хотели везти еще дальше на север, в Игарку, но мама ходила просить – что мы там будем делать с маленькими детьми? И нас оставили.

Через пару дней взрослых отправили на работу. Надо было полоть зерновые, заросшие сорняками. Потом их отправили заготавливать сено. Иварс, 12-летний, ездил на конных граблях, 14-летний Зиедонис тоже выполнял какие-то работы.

Можно было купить хлеб, крупу, консервы. А потом наступило время, когда надо было уже продавать вещи, чтобы купить у частников картошку, еще что-то необходимое. Для зимы не было ни одежды, ни обуви.

В ту зиму был очень глубокий снег и морозы ниже 40 градусов, были дни, говорили, что и ниже 50 градусов. Конечно, у подростков навыков возить дрова из лесу в такой мороз не было. Лес был далеко. Лошадь днем не давали. Зато воспользоваться можно было ночью. Настоящее издевательство.

Помню такой эпизод. Жили мы уже в другом доме. Приближалось Рождество, женщины собрались отметить. И в это время зашел бригадир и приказал идти на ферму пилить дрова. Так тоже было. В селе было несколько семей, которые приехали сюда добровольно, еще в пятом году. Они уже совсем обрусели.

Когда маленький брат заболел, он все просил и просил у мамы хоть маленький кусочек хлеба. Видно, так голоден был, что не мог заснуть. А дома в то время не было ни крошки. Когда взрослые уходили на работу, он просил меня рассказывать о доме. Голодные мы были, и самое интересное было вспоминать всякие лакомства, да не лакомства – просто говорить о хлебе. Что дома и хлеб был, и молоко, было дома тепло и уютно.

А потом он заболел совсем серьезно. Был ноябрь, начались вьюги, ветра, он не выдержал и умер. И после него многие умерли, в основном самые младшие в семьях. В каждой семье по одному, по двое детей. Весной выделили клочок земли, где можно было посадить только самое необходимое. Достали у местных какие-то семена, посадили картошку. Но все это было очень скромно. Да и поздно посадили. Лето там короткое. И вот пришло

Ливия с братом Иварсом (первый слева)

сообщение, что надо уезжать в Игарку. Мама упросила, и нас отправили в Богучанский район.

Туда мы попали поздней осенью. Все время жили в бараках или под открытым небом. Везли и пароходами, и машинами, на чем только не везли. Зима совсем на носу. Там уже в сентябре бывает первый снег.

В Артюгино работы почти никакой не было. Снова полное отчаяние, голод. Началась эпидемия дифтерии, умерли два подростка – в семьях Клавсоне и Озолини. Мама сказала – если мы здесь останемся, все перемрем.

И тогда четыре семьи решили уйти. Жила с нами 30-летняя женщина из Финляндии, которая выяснила, что в Бедобе колхоз побогаче. Но дороги нет, идти через лес, через речку переходить, речка с нашу Лиелупе. Местами немного мельче. Все пошли, и дети. И финка эта за вожака, знала направление. Преградой стала река. Мальчики притащили из леса поваленные деревья, попытались смастерить плот. Было холодно, сыпался снежок, вброд переходить не тянуло. За рекой видны были строения, шел даже дым из труб. Когда ребята добрались до середины реки, плот рассыпался, и они намокли. А тут вечер. И лодки нет. Схватились за руки и побрели через реку. Взрослым по пояс, а нам по плечи. Те, кто перебрался первыми, уже развели костер, согрели воду. Стали сушиться у костра. Утром отправились дальше. До Бедобы идти пришлось еще около двух суток. Там нас поселили в пустых домах. Фактически это была квартира – комната и кухня, но там уже жило несколько семей. Кое-как устроились. В одной квартире было нас четыре или пять семей. У колхоза была большая баня. Истопили, и все пошли греться. Через пару дней взрослые вышли на работу. Здесь, по крайней мере, платили, правда, очень скромно. Не деньгами, давали муку. Качество той муки порой было такое, что говорили – от этой муки и телята подохнут. Муки из семян сорняков было больше, чем настоящей. И просеять нельзя было – ничего тогда не останется. Пекли лепешки, такие колючие. Потом обжигали на огне, лузгу, которая торчала, жгли. Еще шла война, поле войны дела пошли на поправку. Пока еще настоящего снега не было, могли пойти на поле, собирать колосья. И картошку – на убранном поле, случайно пропущенную при уборке.

В Бедобе, да еще и в Тайменке у мамы был мешочек с сухарями, который она берегла. Разнеслись слухи, что кто-то уехал нелегально. Стали и наши мечтать об этом. Об отце ничего не знали. В 1943 году получили от него первую весточку. Он узнал, что мы в Тайменке, туда и писал. А когда узнал, что мы

Ливия в Сибири

в Бедобе, был уже болен. Прислал несколько предложений, написанных по-русски. На латышском писать нельзя было, контролировали. Он и написал – тяжело заболел. Страшно переживал, когда узнал, что младший умер. Радовался, что их, может быть, переведут в места к нам поближе. Я ответила, подробно рассказала, как мы живем, но он этого письма уже не получил. Ответил его друг. Написал, что умер отец от воспаления легких, но причиной всему был голод. От положенных им продуктов охрана часть забирала себе. Работали они на лесоповале.

А наши мамы молотили хлеб. Комбайнов в колхозе не было, имелось, может быть, несколько тракторов. Молотили на допотопных молотилках. Так всю зиму и трудились на берегу реки. На реке была маленькая электростанция, от нее и работала молотилка. Свозили туда сжатый хлеб со всех полей и принимались молотить. На ветру и на морозе. Только молотилка стояла под навесом. Обмороженные руки, ноги, воспаление легких. Многие умерли.

Братья научились делать колечки из патронов, бывала, выковывали из белых монеток, это уже было посложнее, даже камешки вставляли из чего-нибудь. Пока они блестели, их охотно покупали. За колечко давали картошку или даже буханку хлеба. В магазине хлеба не было вообще, если даже и было бы, на что купить. Денег колхоз не платил, только мукой расплачивался. Иногда удавалось достать снятое молоко, но тут же отсчитывали от заработка.

С Латвией стали переписываться. Тетя написала, что что-то планируется. Готовились, Зиедонис

очень надеялся, что это произойдет быстро. И еще тетя писала, что если это случится, мама останется одна, а это ужасно. Не может ли она попросить, чтобы ее назначили сопровождающей, может быть, тогда и она попадет домой, пусть даже нелегально. Но у нас никто ничего не знал.

А где вы жили потом? Я окончила четыре класса. Сначала, пока не ходила в школу, летом помогала маме или на сене, или теребить лен, нужно было и зерно в амбаре очищать. Потом заболел Зиедонис, и мы снова стали трудно жить. Мама старалась достать ему что-нибудь посытнее, чтобы победить болезнь. У него было воспаление легких, потом привязались еще болезни. Веной я перестала ходить в школу, бродила по полям, подбирала колосья, картошку. А он был дома. Больницы не было, отвезти куда-то не было возможности. Единственное, что могла дать иногда сельская фельдшерица, – рыбий жир, изредка витамины. Серьезных лекарств не было. Он все слабел и слабел и через полтора года умер. Пилил дрова, вспотел, а день был морозный и ветреный. Было это в 1948 году. Значит, умер он в 1949-м. Зимой. Многие там умерли, и в его возрасте, и младше.

Пошла и я работать в колхоз. Первая моя работа – заготавливала чурки для генераторов. Длилась она несколько месяцев. Потом назначили меня учетчицей на молочную ферму. Там было хорошо – даже молока удавалось попить. Хуже стало, когда пришлось идти на сенокос. Ну как долго будешь махать косой? Питание ведь было скудное. Мясо, может быть, за год пару раз видела. Сухой хлеб, картошка, трава всякая. Ни муки, чтобы хлеб испечь, едва хватало суп заправить, кашу сварить. Летом щавель, крапива, лебеда. Хорошо, если чуть муки было. Но ведь ни мяса, ни жиров. Каждый месяц комендант появлялся – проверял, не сбежал ли кто. Приехал однажды, с директором говорили, может быть, ко мне благоволил, но разрешил мне уехать. Так я оказалась в Богучанах, там снова на пароход и до Красноярска. Но куда идти? Общежития нет. Одна знакомая, с которой я училась, посоветовала меня пожилой паре, которой нужна была помощь по дому. Так решилась моя проблема с жильем и едой.

В 1956 году нам выдали паспорта – листочек с фотографией. Осенью с мамой и Иварсом сообщения никакого не было. Надо было ждать весны. Когда сошел лед, они приехали в Красноярск, и все вместе мы поехали в Латвию.

Рисунок Ливии

ИВАРС ТРАНС

родился в 1929 году

Жили мы на хуторе «Стура Яунземьи» Светеского района. До 1941 года наша семья – отец и мать, я, старший брат Зиедонис, сестра Ливия и самый младший Янитис.

14 июня 1941 года, в один прекрасный солнечный день... Меня в тот момент не было дома, был в школе. Позвонили, чтобы срочно пришел домой. В чем дело, не знал. Подъехал, смотрю – во дворе грузовик. В кузове один в русской форме, в руках винтовка со штыком, рядом чужие понурые люди – те, кого забрали до нас. Когда вошел в дом, увидел отца, сидящего за столом. Был офицер и, кажется, двое в штатском. Я спросил, в чем дело, мне ответили, что нас вывозят. На семью разрешили взять 100 килограммов груза – даже взвесили, в кладовой у нас стояли весы. Берите, что хотите, но не больше 100 килограммов. Разложили все в три мешка, это и был весь наш багаж. Посадили в машину, я только успел накинуть какое-то пальтецо. Потом машина отправилась в следующий дом, в «Лонес». Забрали семью Баугерс, и повезли всех в Ригу, на поезд.

Подвели к вагонам, отца сразу же разделили с семьей, увели в другой вагон. В товарном вагоне, куда нас посадили, были двухъярусные нары, на них уже устроились привезенные до нас. В полу вагона была дыра, потом мы ее отгородили простынями. День или два стояли на станции. Настроение у всех, естественно, подавленное. Мы, дети, переживали гораздо меньше, чем наши родители, не понимали, во что все это выльется. Мне в то время было едва 11 лет. Так что происходящее я близко к сердцу не воспринимал. Пока еще был не голоден, вещи из дома какие-то взяли, никаких проблем.

Поезд остановился, кажется, всего один раз, в нежилых местах, по обе стороны насыпи были болота, чтобы мы не могли никуда сбежать. Открыли двери и выпустили. По-моему, вынесли и умерших – в болото. Когда все справили нужду, вымылись, снова загнали в вагоны и повезли дальше в том же режиме до Красноярска.

В Красноярске высадили. Оказались мы на станционной площади, кто под навесом, кто под открытым небом. Там провели мы не одну неделю. Приходили с заводов, из учреждений, выбирали тех, кто мог что-то делать, уводили. У нас даже скамеечек не было, сидели и лежали прямо на земле. Меня, например, взяли копать какую-то... словом, на земляные работы. Возможно, собирались там строить завод или еще что.

Многих обокрали. Там местные разгуливали. Стоило тебе оставить свои вещи, тут же они пропадали. Приходилось сидеть или спать на узлах.

Потом погрузили на баржи. Многих, во всяком случае, не знаю, может быть, других в другую сторону увезли. Плыли по Енисею. Привезли в село Тайменка Уярского района. Это была латышская деревня, латыши жили здесь еще с давних времен, когда в царской России раздавали землю. Не было ни одной русской семьи. Раньше они жили в тайге, в своих домах. Когда мы приехали, они все жили уже в деревне, в тайге все еще стояли пустые избы. Я сам эти дома видел, работал на лошадях в Тайменке целый год, в 41-м, в 42-м, сено сгребал. Я еще дома научился с лошадьми обращаться, отец научил. Видел я эти брошенные дома, в селе избы были гораздо хуже, меньше. Одна улица в селе была. И они жили небогато, их в деревню согнали за пару лет до войны, обжиться еще не успели. Для них жизнь в деревне была внове. А русские не терпели, когда кто-то жил

Врачей вообще никаких не было, еще и голод страшный. Братишка и умер.

Мать Луция. Латвия

на заимке, в лесу, ведь не уследить. К тому же еще и латыши. И организовался Таймырский сельсовет, небольшой колхоз.

Спали мы на сучьях, у нас ни пил, ни топоров с собой не было – ни у кого ни одного инструмента.

Жили так, пока земля не начала замерзать. Тогда над нами сжалились, стали расселять в дома к местным. В каждом доме людей было напихано... До этого мы нигде не работали, ничего не зарабатывали. Протянули кое-как зиму. Зимой ходили пилить, росла рядом березовая роща красивая, приказали пилить чурки для генераторов, дрова для тракторов. Сначала кругляши толщиной шесть-семь сантиметров, потом надо было их расколоть и самому привезти на санках. Ящик надо было наколоть и отвезти в сарайчик, где их принимали. И так до весны работали, зима и прошла.

Жили в помещении без пола и без потолка, младший Янитис заболел. Тяжело заболел. Врачей вообще никаких не было, еще и голод страшный. Братишка и умер.

В 42-м году стали поговаривать, что придется ехать дальше. Пришли из сельсовета, принесли бумагу – надо переезжать, ехать дальше. Нашей семьи в том списке не было. Не знаю, почему. Может, потому что у мамы со здоровьем не все было в порядке, никакая она была не работница, я еще мал, у старшего брата болела нога, хромал, так что пользы от нас никакой – рассчитали. Никто и на работу нас брать не хотел, утруждать себя. И не отправили нас никуда, а всех остальных латышей, с кем мы уже сдружились, увезли.

Я тогда уже на лошадях работал. И вот сговорились мы с одним местным парнишкой, запрягли лошадь, на которой я работал, договорились с домашними, что нечего нам здесь оставаться, страшный голод в этом колхозе. Мы не знали, что нас ждет, но оставаться здесь – значило погибнуть, долго мы бы здесь не выдержали. Было это весной 1942 года. Мама уже вскопала пятачок земли, даже картошку посадила. Все осталось. Там, наверху, они так и старались нас проредить. Из Красноярска плыли на баржах по Енисею. Потом по Ангаре. Там подряд леспромхозы. Остановился наш пароход возле села Артюгино, высадили... Тут же пришли представители, отбирали пригодную для них рабочую силу – женщин покрепче, с детьми постарше, мужчин же не было, если и были, то старики. Нас никто не выбрал, остались мы на барже, поплыли дальше. Выше по Ангаре, километров шесть-семь, село Иркинеево, колхоз. Высадили на берег и сказали – дальше не повезем. Не сказали даже, куда идти, никто нами не интересовался.

Была наша семья и еще несколько человек. Таких же. Спустя какое-то время поселили нас в местном клубе. Там были и семьи из Украины. Они были богатые, вдоль стены стояли их мешки с зерном. Я даже стал спрашивать, как будет по-украински то и то. Картошка, например.

Вскоре все это закончилось, работы не было, нам ничего не обещали, Иркинеево тоже от нас отказалось. Если мне не изменяет память, были там и финны. Но уже не мальчишки, мужчины. Русский язык они знали. Каким-то образом узнали они про село Бедоба, там как будто бы хорошо. А из Иркинеево туда можно добраться пешком. И вот в один прекрасный день... В то время нами даже комендатура не интересовалась живы ли мы, где мы, кто мы такие вообще. Никто нас не регистрировал.

...Вспомнилась еще Тайменка. Было это в 1941 году, когда привезли. Обычно комендант вызывал маму ночью на допрос, в школу. Расспрашивал подробно – кто мы такие, что делали, где работали. Велел подписать документ, что мы добровольно приехали в Россию на 25 лет. Было это сразу же по приезде, в Тайменке. Все обычно происходило по ночам. Так обработали всех. С допроса мама пришла заплаканная, сказала, что жить нам здесь предстоит 25 лет. Насколько помню, бумагу она не подписала. Сказала, что хуже все равно не будет.

Были там ребята младше меня – Арнолдс Клавсонс и Озолиньш, были двое постарше – с моря, из Павилосты. Решили мастерить плот, переправиться на другой берег. Семьи их остались в Иркинеево. Но с плотом им не повезло. Связали его из каких-то поваленных деревьев, инструмента никакого. Один встал на одном конце, второй стал забираться, плот перевернулся, и оба оказались в воде. Но пловцы они были хорошие, выплыли. А мы взялись за руки и стали переходить реку вброд. Было не очень глубоко, примерно до подмышек. На той стороне стояло какое-то строение, раскинулись колхозные поля. Потому там и стоял этот домик, в нем летом жили бригады. Сейчас он пустовал, мы разожгли печку, обсушились, обогрелись.

Первая проблема, с которой столкнулись, – чем топить. Пришли мы поздней осенью. Мужчин нет, женщины есть женщины, ну и мы – мальцы. Велели нам пилить дрова. Троим – мне, старшему брату и Карлису Озолиньшу. Для колхоза, для конторы, там дрова заранее не заготавливали. В тайге было столько сухих деревьев, которые не гнили, стояли, как свечи. В колхозе была специальная бригада, которая возила в деревню шестиметровые бревна. Возле ферм были специально отведенные места, где грели воду для скота. Вот мы ходили и пилили. Польза была и в том, что можно было принести несколько поленьев домой. Воткнешь топор в чурбак, закинешь на спину и несешь. Первые годы были очень трудные.

Руки у старшего брата Зиедониса были ловкие, можно сказать, золотые руки. У местных не было ни колец, ни сережек, ну ничего. Он научился их делать. У кого-то из латышей был с собой пятилатовик, лат или два лата – ну, на что нам они там? Набрали у всех и научились делать из них кольца. Но и камушек вставить надо было. У кого-то с собой и зубные щетки были. А они в те времена были прозрачные, разноцветные. Из них и вырезали «камушки». Местные мало что понимали в драгоценностях, ничего там не было. И сережки делали. Как делали – инструментов-то никаких. Только молоточек, пилку где-то достали, в кузне долото смастерили. Как комплект готов, так мама

Иварс с сестрой Ливией. Сибирь, Красноярск, 1955 год

идет продавать. Потом придешь на вечеринку, и самому приятно – у девушек на пальцах наши колечки, сделанные из медных гильз. И такие были. Только гильзы у охотничьих патронов были медные, не такие, как здесь, бумажные. И размер был подходящий – 16-й, 12-й, как раз на палец. И в них вставляли глазки разноцветные, всем было хорошо.

В 1946 году вас пытались отвезти в Латвию? Нет, до нас сведения эти не дошли. Связаться с нами было очень трудно, через село не проехать, дороги не было, по реке транспорт не ходил. Речка наша была несудоходная, баржи в нее не заходили. Самый подходящий был зимний путь или верхом. Мы же были в самой тайге. В любую сторону от села пойдешь – в стену деревьев уткнешься. Дальше ли от села, или ближе – сплошь тайга. Единственный путь – в сторону района. В другую сторону ни дорог, ни сел уже не было.

Да, был почтальон, который, кажется, появлялся раз в неделю. В 1950 году стал прилетать «кукурузник». Это было событие!

Насчет образования было так. Дома я окончил четыре класса, сюда приехал – в школе тоже только четыре класса. Я был крепкий парнишка, учиться не отпускали, чтоб и не думал даже, посылали в отдаленные бригады работать. Неделями дома не бывал, только в субботу приезжал в деревню, к маме. Сначала во 2-й бригаде работал, потом в 3-й, всегда далеко.

В 1956 году я уже в МТС работал. Зимой ездил ремонтировать трактора, километров за 60, на месте не ремонтировали. У меня уже был паспорт, а до этого просто бумажка – такой-то и такой, без права выезда. Паспортов и у местных не было, ни у кого. Были какие-то справки, мол, зарегистрирован в таком-то селе, молодые тоже не могли никуда выехать. Паспортов не давали никому. Нам паспорта выдали в Богучанах. И я сказал в МТС, что, так как я свободен, хочу весной уехать.

Меня не подвели, разрешили, с первым же пароходом уехали. Простились, и повезли нас в Красноярск. Даром. А дальше уже за свои деньги...

Иварс в Сибири

ПЕТЕРИС ТРАПША

родился в 1939 году

14 июня 1941 года, по рассказам матери и отца, приехала машина с тремя вооруженными военными, дали 15 минут на сборы. Отец вывихнул ногу, очень переживал. Мы, дети, плакали, мама просто голову потеряла. Какой-то военный, видя нашу растерянность, сказал, чтобы собрали теплые вещи, что обратно уже не вернемся.

Закинули нас, как щенков, в машину и отвезли в Даугавпилс на станцию, где было уже полно людей, многие плакали. Мужчин сразу же увели, сказали, что встретимся в Москве. Отец рассказывал, что когда их привезли в Москву, высадили, выстроили в колонну по четыре, вокруг охрана с собаками, сзади пулемет, и погнали пешком до Урала.

Нас с мамой – мне было полтора года, сестре около четырех лет, брат родился в апреле 1936 года – везли недели две, за Урал. Двери в вагоне не открывали, воды не было, маленькие дети умирали от голода и жажды. Когда миновали Урал, двери открыли, матери показали своих мертвых детей, их забирали и бросали за насыпь. Матерей не подпускали, говорили, что будут стрелять или штыками колоть.

Уже в Москве мы услышали, что началась война. Когда приехали в Канск, тех, что были поздоровее, посадили в машины или на телеги и повезли в Дзержинск. Всего оказалось нас восемь семей с детьми. В первое время мама меняла вязаные изделия, одежду на продукты. Язык она знала плохо. Когда она пошла поинтересоваться насчет работы, ей ответили – вот кто привез, тот пусть и обеспечивает вас работой. Послали ее в колхоз убирать урожай. Она была учительница, физически никогда не работала, а надо было трудиться с раннего утра до позднего вчера. В том году уже в сентябре начались сильные морозы, одежды не было, обматывали ноги тряпками, чтобы как-то сохранить тепло.

Еды не было, и она насыпала за рубашку зерно, чтобы принести домой, – если на этом поймают, давали сразу пять лет. Пять лет давали и за колоски, если ты собирал их в поле весной или осенью. Когда я подрос, выискивал в грязи мерзлую картошку. Если на этом поймают, детей отводили домой, а родители получали свои пять лет тюрьмы.

В 1945 году начался ужасный голод. Мы жили в землянке, которую мама вырыла вместе с еще двумя женщинами. Одна была латышка, Керпе, у нее была дочь, вторую не помню, но у ее дочки осенью вскочил в горле нарыв. Пока искали врача, девочка умерла, а женщина, кажется, сошла с ума и пропала. Весной есть было нечего, всю крапиву оборвали, лебеду тоже. Собирали березовые сережки, из них пекли хлеб. Горький, но съедали.

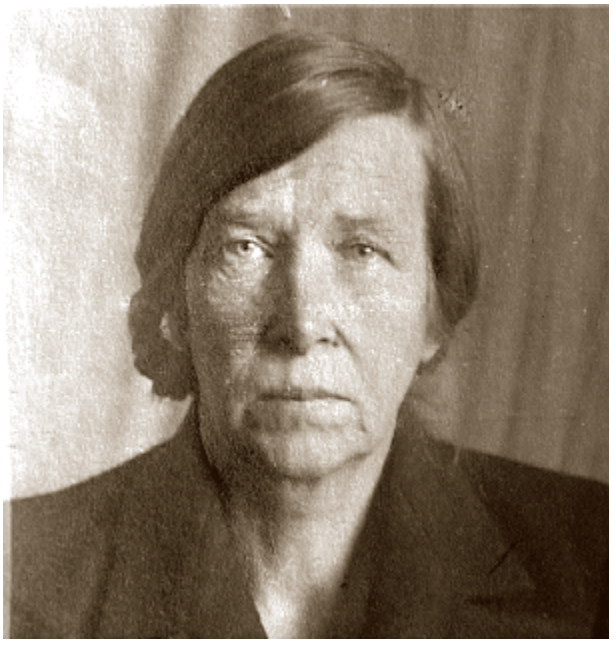
Помню еще мой день рождения, это было уже в 1946 году. Мне подарили большую картофелину и горсть муки. И из картошки и этой горсточки муки я приготовил угощение.

Где-то ранней весной 1946 года, еще лежал глубокий снег, землянку нашу стало затапливать. Мы вынуждены были ее покинуть. Приняла нас какая-то местная, сибирячка. Сначала мы жили в ее сарайчике, потом она впустила нас в дом – так в одной комнате и жили мы все вместе. Во второй половине года брат и сестра уехали в Латвию, когда поступил запрос из Америки или из Красного Креста, а я остался с мамой.

Через какое-то время нам повезло – мама устроилась в больницу посудомойкой. Работала помногу –

Помню еще мой день рождения, это было уже в 1946 году. Мне подарили большую картофелину и горсть муки.

Мать Зина, отец Эдуардс. Латвия



Мать Зина. Сибирь 1954 год

с шести утра до одиннадцати вечера. Обычно мы ждали маму на русской печи, потому что маме разрешали выцарапывать со дна котлов, в которых варили кашу, подгоревшие остатки.

После отъезда брата и сестры от старшего папиного брата пришла из Латвии посылка. В ней было сало, несколько яблок, уже подгнивших, и письмо – посылку посылаем, но это может быть последняя, так как и их могут забрать. И правильно сделали, потому что их уже допытывали, куда и зачем отправили посылку. Когда мы остались с мамой вдвоем, она устроилась в школу уборщицей. Когда она заговорила о работе учительницы, ей ответили, что фашистов они на работу не берут, нечего людей портить. Я ходил маме помогать, потому что помещения были большие, надо было передвигать парты. Иногда под партой удавалось найти и что-нибудь съедобное.

Прислали обувь. Согласно перечню, там должны были быть валенки, но школьное руководство список переписало, и мне досталась какая-то ношеная обувь. Так я всю зиму пробегал в носках. От барака до школы было недалеко, метров 600. Я прибегал и садился, поджав под себя ноги, а учительница делала мне замечание, что я не сижу, как человек.

Когда мне было девять лет, я так ослаб, что не мог стоять на ногах. Мама отнесла меня в больницу, там ей сказали: «Что вы мучаетесь, оставьте его, мы сделаем ему укол, и вам не придется мучиться». Мама тут же забрала меня.

Ранней весной 1949 года приехал отец, его освободили. Фактически он меня спас. Отец сразу же устроился работать – какое-то время строил фермы в Красноярской области. Он сколотил бригаду, зарабатывал, и мы постепенно встали на ноги. 26 марта 1953 года у отца был день рождения, рано утром мы с мамой пошли на рынок, возвращаемся – у дверей стоит солдат с винтовкой. «Кто такие?» Мы объяснили. «Мы вас давно уже ждем!» Вошли в комнату, там все вверх дном перевернуто, книги мои раскиданы. Солдат держит мой альбом для рисования, я разозлился, зубами вцепился в его руку, а так как я был маленький, он попытался меня стряхнуть, как собачонку, но ему это не удалось. Кто-то из них сказал: «Этих фашистских щенков на месте надо расстреливать!». Так в 1953 году отца арестовали второй раз, работал он на строительстве перевалочной базы в Усть-Куте. Послали их на смерть. Зима в 1954 году была очень суровая, железные молотки на морозе крошились. Они рубили скалу, многие там расстались с жизнью.

Когда жизнь стала понемногу налаживаться, в Дзержинске заработал молокозавод. До него было километра три. И там была пахта. Работали женщины, репрессированные, очень отзывчивые. Но если высланным кто-то помогал, и его тут же наказывали. Иной раз дома в ведре с пахтаньем находили и кусочек масла. Я жил рядом, в детском доме. И если бы я оттуда не уехал в 1955 году, оказался бы среди преступников. Курить я там начал

с семи лет, помню и названия – «Парашют», «Ракета», «Спорт».

Приехали в Латвию, в Огре. Отец приехал еще раньше. Латышского языка я не знал. Когда сошел с поезда со своими самодельными чемоданами и услышал латышскую речь, заплакал.

Мы думали, что поедем в Даугавпилс, в Демини, поживем там некоторое время. Но отец там уже побывал и ему сказали: «Приедешь еще раз, отправим туда, где был. Нет у тебя никакой земли!». Остались жить в Огре, сначала на хуторе недалеко от Циемупе, потом ютились в домике размером три метра на три на берегу Огре. Пока топишь, тепло. Жили мы там вчетвером – мама, отец, сестра и я. Брат в то время уже служил на востоке. Так и жили, пока на улице Дарза не начали строить дом.

Я в это время учился в вечерней школе, работал в Риге на заводе «Велдзе», где выпускали лимонад и квас. Отъездил я примерно полгода, пока не стал терять сознание. Врачи сказали: «Или работай, или учись». Все это было от недосыпания.

Отец приехал в Латвию в июне 1955 года, мы в том же году в сентябре.

Позже отец работал в Риге, но его уволили.

Мама устроилась на железнодорожном вокзале посудомойкой, платили ей 36 рублей. Но и ее выкинули с работы. Вышла она как-то из дому вечером, с отцом они поскандалили. Я пошел ее искать, ходил, звал. Следы нашел, которые вели к реке, она уже закоченела.

Я ее вытащил, с ней это случалось не в первый раз, брат об этом рассказывал. Я как в тумане помню, что и в Сибири она пыталась повеситься – от отчаяния, есть было совершенно нечего. Местные власти все время зажимали, вытесняли, продуктов, которые присылал Красный Крест для высланных, мы и не видели, начальство делило их между собой.

Когда мы были в Сибири, пытались собраться вместе, держаться друг за друга, оказалось, что из восьми нас осталось трое.

Языка я не знал. Молодые ведь жестокие, вместо того чтобы поправить, подсказать, начинали смеяться. Ну, я, когда в 1955 году приехал в Ригу,

Петерис (в третьем ряду в центре). Сибирь, Канск, 1954 год

тоже агрессивным был. Ходил в старых сапогах, за голенищем кинжал. Когда жили у Датавса, за водой ходили на реку. Как-то утром в воскресенье пошел, а тут местный бросил в прорубь кусок навоза. Рассвирепел я, но пока карабкался на берег, тот убежал. Потом как-то встретил его на перроне, решил – отомщу. И тут вышли двое, мордатые такие. Пошли, говорят, потолкуем. Ну, и драка вышла. Когда я нож вытащил, отступились. Потом поладили.

Для всей Латвии случившееся было потрясением, старые пни, которые могли еще зазеленеть, были выкорчеваны, все контакты были разорваны. Дети должны быть вместе. Семьи, которые там были, в большинстве своем вымерли, кто-то остался там, а тех, кто вернулся, гоняли с места на место. Прямо в глаза говорили: «Вы зачем сюда, фашисты, приехали?»

Весь интеллект, все молодые люди, которые могли бы строить Латвию, были уничтожены. Интеллект оказался или в России, или отбыл на Запад. Возникла пустота, которую надо было заполнить, и ее заполнили людьми, которые сейчас выступают против независимости Латвии. Посмотрите, какими методами они действуют! Как получилось – дома, которые строились, латышам не давали, и не только высланным, но и местным. Жить приходилось и на чердаках, и в подвалах. Недаром же ходил анекдот: «Латыши где только не устроились, русским уже и дрова некуда складывать». Гляньте, что делается.

Я в Риге даже знаю некоторых, которые из подвалов устроили себе квартиры. Когда в 1941 году вывозили, в их квартиры вселялись русские – на белые простыни, а чтобы ноги на паркете не скользили, паркет красили! «Вы почему паркет покрасили?» – «Скользко». Когда русские в Москве рассказывали, как офицерские жены доставали из шкафов ночные сорочки и отправлялись в них на бал, никто этому не верил, но я стал разговаривать с людьми и узнал, что так оно и было.

Что тут делалось, когда вошли русские, рассказывали многие уже умершие, все было разграблено.

Да. Там я научился – если другому глотку не перегрызешь, не выживешь.

Петерис (в центре), мать Зина (слева). 1954 год

АРНОЛДС ТРЕЙДЕ

родился в 1926 году

Я родился в Приекуле Лиепайского уезда, отец с 1919 года служил в полиции, все годы Первой республики. Мама занималась домашним хозяйством, воспитывала детей.

Когда солдаты увезли нас в машине в Караосту, в военный порт, мне было 15 лет. Подъехали к вагону, открыли двери, в вагоне были мужчины, спросили, откуда. Проводник сказал, что мужчины поедут отдельно. Я, как младший, выскочил из машины, стал вносить вещи.

Вместе с нами взяли еще три семьи. Когда я внес часть вещей, проводник сказал: «А ты, мальчик, иди к маме. С мамой поедешь».

Отправили меня в женский вагон. Народу там было терпимо, я устроился на верхних нарах, всю дорогу смотрел в окно. Я был главный мужчина. Потом подвезли еще народ, в вагоне нас было 50 человек, из них 10 детей, среди них и я.

15 июня прицепили паровоз и повезли в Елгаву. Ночью нас толкали, передвигали, отцепили вагон с мужчинами. А чтобы укомплектовать эшелон, прицепили и женские вагоны из Вентспилса. В эшелоне было 90 вагонов с одними только женщинами.

В Елгаве долго стояли, нужно было проверить все документы, все бумаги, поставить везде галочки – такой-то присутствует.

17 июня двинулись на восток. Ехали четыре дня. Проснулся я как только начало светать. Услышал чей-то душераздирающий крик. Оказалось, на противоположных нарах родилась девочка. Никаких врачей не было, не было даже теплой воды. Женщины, что ехали в вагоне, помогли. Спустя несколько часов в вагон вошла фельдшерица в кирзовых сапогах и в белом халате: «Ну как? Все в порядке? Хорошо». Раздался свисток паровоза, и она выскочила, потому что на ходу в вагоне находиться было нельзя. Никакой помощи не было. Через 10 дней в другом конце вагона родился мальчик. Тут уж волновались меньше, навалились и другие переживания.

Через неделю мы уже переехали через Урал. Эшелон наш тащили два паровоза, когда были в предгорье, сзади прицепили еще один, который нас толкал, иначе в гору бы мы не поднялись. Подъехали к станции, где на крыше были громкоговорители. И мы услышали, что началась война. Мы от радости перестали даже о ссылке думать, стали думать о другом. Быстро ли летают «мессершмиты». Навстречу все чаще шли военные эшелоны. За Уралом был уже одноколейный путь, и нас на станциях размещали на запасных путях, там мы стояли, пропуская воинские эшелоны. До Красноярска ехали 21 день. На станции Енисейск велели выходить с вещами. Вокруг леса, горы, открытое место. Двери в вагонах закрыли, но эшелон продолжал стоять. Конвой забрал свое снаряжение и отправился восвояси. Спали мы на площади дня три. У кого с собой были продукты, те варили. Пытались купить у местных картошку. Поставили кирпичи. У кого была кастрюля, те готовили, остальные ждали – никто к такому не был готов.

Через четыре дня поместили в большой барак и уже оттуда стали развозить дальше. Кого в Канск, кого выше по реке, кого увозили на поезде. Мы оказались на барже и поплыли вниз по течению. По дороге решили, что в деревнях, похоже, много пасечников – на всех местных были сетки, в таких у нас ходили на пасеку. Через 12 часов причалили в Галанино, там

Ненависти нет, да ее никогда и не было. Какая может быть ненависть к старым людям, которые жили в деревне? Они нас понимали.

Арнолдс с отцом Херманисом

и поняли, что это за «пчелы». Это был гнус, оводы величиной с большой палец, комары – и все они атаковали. С баржи сняли человек 100, вышли на берег, взобрались на кручу. Деревня, за ней дорога. Разместили прямо на дороге, там и спали. В дом никто нас не пустил, местные были настроены очень враждебно, ведь началась война из-за нас, это мы напали на Советский Союз, мы пленные, которых повезут дальше на север. Для маленьких детей нельзя было даже достать молоко. Мошки заедали до крови. Глаза у людей опухли, подобного никто не ждал. А мне, мальчишке, все казалось интересным.

За нами приехали десять повозок, был и сам председатель, и отвезли всех в колхоз «имени Эрнста Тельмана», названия этого и сами русские не могли произнести и не знали, кто это такой. Когда-то это было большое село, в самом центре площадь, на ней большая церковь, к нашему приезду наполовину в развалинах, и нас тоже поставили ее разбирать. Разместили нас в домах на краю села, хозяева больших домов были в свое время раскулачены и поселились в них те, кто когда-то жил в окраинных домишках. И мы даже не все эти избушки заняли.

Когда я в Лиепае заносил в вагон вещи, сначала занес свои, и они так с отцом и уехали. На мне были тенниски, модные в то время, брюки, даже шапки не было. Сестра распустила шерстяное одеяло, связала носки, у меня было три пары. Мама на что-то выменяла галоши, привязал я их шнурком, так и ходил. Была у нас еще отцовская шапка и брюки, но когда я их надел, оказалось, что слишком еще худ для них. Отцовские брюки мог впереди сложить вдвое, затянуться веревкой и тогда только они не падали. Так в лес и ходил.

Прожили там два года. В доме, который нам выделили, жили четыре семьи – Лапы, глава семьи в Лиепае был аптекарем, до 1934 года мэром города. Умер в Вятке, с нами вместе была его жена, дочка и внучка. Была семья Понтакс – невестка с матерью. Сыновья были полицейскими, один умер в лагере, второго сактировали. Все они уже умерли – жена, потом мать, а потом и сам. Была еще семья Седолс – мать с дочкой двух лет. Славная была девочка, выбегала нас встречать, когда мы возвращались из леса, кричала – лесовики идут. Бросалась не к матери, а ко мне. Дожила до февраля и умерла. Она была первая, кого мы похоронили. Пришлось лед вырубать, вырубили на метр, но до земли так и не добрались.

В 1942 году семьи, в которых были трудоспособные и взрослые дети, отправили на Север. Кого-то из них отвезли на берег Северного Ледовитого океана. Нам посчастливилось, что нас туда не отправили. Зато зимой отправили пешком за 150 километров на стройку. Уложили мы вещи в сани, а сами четыре или пять дней шли рядом. Это было спасение – предприятие в Норильске. Строили здание, возили песок в тачках, но там была столовая, карточки, мы знали, что суп получать будем каждый день.

Жили там до 1945 года. Кончилась война, закончилось строительство, перевезли нас в другое место. Раньше это был поселок Маклаково, теперь город Лесосибирск. С Ачинском теперь существует железнодорожное сообщение. А в свое время летом сообщение по воде, зимой дороги заметены. Работали на лесопильном предприятии.

Летом 1946 года откомандировали меня в тайгу на сенокос, раз в две недели отпускали домой, в баню. Пришел я в августе домой, друзей нет. В это время как раз увозили детей в Латвию. Некоторые остались, сестра тоже, одна уезжать не хотела. Из ребят осталось человека три-четыре, и я в их числе.

Через месяц стали приходить письма – добрались домой, получили документы, устроились на работу, пошли в школу. Нам все это было неведомо. Зимой начали оттуда бежать, хотя идти надо было через тайгу с санками на спине. Некоторые ушли,

добрались до дому, получили документы. Звали и меня, но я не пошел. Весной собралась нас небольшая группа, стали готовиться к побегу. А если ты не один, всегда что-нибудь да случается – у одного сапог нет, у того брюк, у того денег нет. К августу были готовы. Сели на пароход, приехали в Красноярск, на вокзал. А там тысячи людей, к кассе и не подойти, люди неделями выстаивают за билетами. Нас было трое парней и девушка. Двое сказали, что пойдут на аэродром, но там нужны паспорта. Так они и пропали, поймали их или что, не знаю. Через некоторое время собрался обратно и приятель – денег на обратную дорогу не хватает. Остался я один. У меня фанерный чемодан и мешок, за билетами в очереди стоять не могу, люди стоят вплотную друг к другу, оставить не могу – украдут. Назавтра вбегает в зал мужчина, кричит: «Быстрей, быстрей!». Оказалось, подали два красных товарных вагона, но без решеток, с нарами, и билеты достать можно. Побежал я к кассам, а билетов нет. Решил, что другого такого случая не представится, выскочил из вокзала, вскочил в вагон – они как раз стояли напротив – забрался на верхние нары, чемодан сунул под голову. Растянулся и лежу. Вагон переполнен, посередине полно ящиков. Люди давай кричать, что многие без билетов, пошли жаловаться дежурному. Пришла девушка в красной фуражке, велела предъявить билеты. Стали показывать – какие-то бумажки, их и билетами назвать было нельзя, ну и я показал издали белую бумажку – мол, и у меня есть.

Через час тронулись в сторону Латвии. Ехали 20 дней. Проедем 200–300 километров, стоим, потом вагоны начинают толкать. Цепляли, отцепляли, цепляли к другим составам. Время идет, деньги тают. Стали по ночам выходить воровать картошку – был август.

За 200 километров до Москвы состав на крупной станции остановился последний раз. Знали, что до Москвы остановок уже не будет. Хлеб заканчивался, я знал, что на каждой станции есть базарчик, где можно было купить вареную картошку, хлеб. А будет ли такой в Москве? Там же карточная система, в магазине ничего не продадут. Пошел купить хлеба. Пока покупал, из Москвы на первом перроне остановился поезд, а наш был на втором пути. Я решил сначала обойти, но потом остался ждать, пока он не отойдет. Как только поезд ушел, на перроне появилась милиция, проверять документы у сошедших с того поезда. Подходят ко мне, спрашивают паспорт. Говорю, что я из другого поезда, паспорта у меня нет. Показал им профсоюзный билет с фотографией, говорят – не годится. Велели взять вещички и идти с ними. Привели в милицию, стали спрашивать, кто я такой, отвезли в Москву как великого преступника. Сидел в Бутырской, Таганской тюрьмах, на Красной Пресне. Словом, побывал везде, где сидели революционеры. Осудили на три года, отправили по лагерям. Наконец оказался в Ванино, собирались отправить в Магадан или на Чукотку, но тут мне повезло – приехал вербовщик, искал рабочих на судоремонтный завод. Я напросился, оказался годен. А пока меня возили, и срок заканчивался. Как-то вечером вызвали нас, 10 человек, вроде бы освободили, вывели из зоны, привели в контору, выдали справку, что можно сфотографироваться, выдадут паспорт. Я-то уже подумал, что смогу уехать домой. Но сказали – жди этап, повезут на старое место. Показали мне барак, где жить, надо было искать работу. Этап иной раз приходилось ждать подолгу, и я устроился на судно в Тихом океане. Отработал два месяца, отозвали, сказали – этап готов. И хотя считался я вольным человеком, везли меня в столыпинском вагоне через все пересылки, а было их штук шесть. Вагон поделен на купе, перед каждым решетки, по вагонному коридору ходит часовой с винтовкой, а мы сидим в клетках, как тигры. И привезли меня туда, откуда я бежал, – вернули матери блудного сына.

Когда я приехал в 1950 году, возвращали и тех, кто сбежал в 1946 году, снова встретились со старыми друзьями. Кто знает, кому из нас больше повезло.

Ненависти нет, да ее никогда и не было. Какая может быть ненависть к старым людям, которые жили в деревне? Они нас понимали. Когда мы приехали в эту деревню, рядом с нами жила старая полька, у нее трое сыновей было на фронте. Когда мы приехали, она по русскому обычаю истопила баню, пришла, позвала в баню, с дальней дороги. Такая вот душевность.

Расскажите, как вы в 1957 году вернулись домой. Где только я здесь не побывал в поисках работы, даже в Лиепайском горкоме партии. Зашел я к секретарю, он спросил меня, член ли я партии. Сказал: еще нет. Так что, говорит, вы здесь ищете, поезжайте обратно, там тоже люди живут. Вы, говорю, должны людям помогать, кто бы они ни были. А я здесь родился, это моя родина.

Я всегда оставался оптимистом, я не очерствел, всегда надеялся, что жизнь повернется к лучшему.